

Я – КРЫМСКАЯ ТАТАРКА

ВОСПОМИНАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	1
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ	2
АЙ–ВАСИЛЬ.....	4
ДЕТСТВО	5
ВОЙНА	8
ДЕПОРТАЦИЯ	10
СОВХОЗ ДАЛЬВЕРЗИН № 2	12
БЕГОВАТ.....	14
УНИВЕРСИТЕТ	16
ОПЯТЬ ДАЛЬВЕРЗИН № 2.....	19
ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ.....	20
ОПЯТЬ САМАРКАНД.....	21
ДЕФИЦИТ КАК ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО БЫТИЯ	22
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН В МОЕЙ ЖИЗНИ.....	25
УКРАИНА	43
НА РОДИНУ!	46
ПОД НЕБОМ ГЕРМАНИИ.....	47
ОДЕЖДА КАК ЗНАК ВРЕМЕНИ.....	48
МОЁ ИМЯ.....	52
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.....	55

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как солнце отражается в малой капле вод, так и целая эпоха – 20 век – начало 21-го – может отразиться в истории жизни одной семьи и даже одного человека.

Это – история моей жизни, история моей семьи. Конечно, это очень субъективная, личностная история, неполная, в какой-то степени, возможно, искаженная неосознанной эгоцентрической установкой пишущего, а также деформациями его памяти. Память человека, как известно, избирательна: он запоминает те события и факты, которые окрашены эмоциями (положительными и отрицательными), а также те, которые соотносятся с типологическими особенностями его личности: типом мышления, темпераментом, волевыми качествами и т.п. Аберрации памяти могут быть обусловлены также психологическими факторами, например, стремлением вытеснить из памяти те события, которые нанесли человеку сильную психическую травму. Очень сильно способны исказить память также внешние факторы: социально-политическая, идеологическая и культурная обстановка, в которой человек чувствовал себя дискомфортно.

То, что я написала, – это не семейная хроника, не автобиографический роман. Это синкретичный жанр – дневники, документы, письма, размышления, стихи, свои и чужие, коррелирующие с моими мыслями и чувствами. Это – маленькое зеркало, в котором, я надеюсь, хотя и неполно, пунктирно, на фоне событий двадцатого – начала двадцать первого веков, отразились моя жизнь и трагическая жизнь моего народа – крымских татар.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Кто-то из мудрецов сказал, что человек должен знать хотя бы семь колен своих предков. В наши дни как-то особенно обострился интерес к семейным хроникам, к родословиям.

Кто же мои предки? К стыду своему, о предках уже второго колена имею очень смутное представление. Знаю, что мама происходит из южнобережных татар, которые представляют собой смешение племен и народов, живших на этой территории с античных времён. Если к этому прибавить, что Крым издревле был оживленным торговым перекрестком, в том числе – работорговли, на котором сталкивались народы Азии и Европы, то становится понятной разнообразие типов и языков местных жителей.

Крымские татары довольно отчетливо делятся на степных, т.н. ногаи (монголоиды, пришедшие в Крым в 13 веке, говорят на кыпчакских тюркских языках), и южнобережных и горных, т.н. татов (европеиды, часто со светлыми волосами и глазами, говорят на огузских тюркских языках). Степные татары постепенно ассимилировались: узкоглазость и плосколицесть у них в последнее столетие не так ярко выражены. Однако язык – кыпчакский – они сохранили.

Родители мои относятся к европеоидному типу крымских татар. Мать родилась и выросла в деревне Ай-Василь, сегодня всё ещё – Васильевка (по-гречески – святой Василий). Возможно, жители деревни были потомками отатаренных греков (может, тех, кто в 1778 г. отказался переселяться в Приазовье и принял мусульманство). Отец – из деревни Янджу (Янджы), которая по спискам 1783 г. была в составе Мангупского кадылыка. Известно, что в средние века Мангуп был столицей готского (готаланского) государства Феодоро. Заманчиво предположить, что предки отца были готами, которые уже к 16 веку полностью слились с местными тюркоязычными народами.

Мой отец

Мой отец по паспорту – Эмиров Мемет Алиевич (Сеид-Мемед Эмир-Али) – родился 25 января (?) 1896 г. в деревне Янджу Куйбышевского (Бахчисарайского?) района. Его отец Эмир-Али простудился и скончался, когда сыну было шесть лет. Старшего брата отца звали Сеит-Абла (Сеид-Абдулла). Были еще один брат и сестра, имён которых я не знаю. Мать отца, Эмине, после смерти мужа вышла вторично замуж за Абдурешиду и с ним в 1912 г. совершила хадж (паломничество) в Мекку, поэтому её называли аджы (хаджы) Эмине. Отец бабушки Эмине был очень богат, его огромные стада (десятки тысяч овец) паслись в степях к северу от Крыма (юг нынешней Украины).

С 6 лет отец был отдан в медресе (духовную семинарию) деревни Коккоз (сейчас – Соколиное), где он проучился три года, затем продолжил учёбу в Бахчисарае, в Зынджырлы медресе. (*Зынджыр* по-татарски означает цепь: поперёк входных дверей медресе была низко натянута цепь, для того чтобы входящие поклоном выражали своё уважение к храму знаний.). Учёбу вскоре пришлось оставить, потому что семья не могла содержать мальчика: в медресе предстояло учиться долгих 25 лет. Муллоу отец не стал, но он хорошо знал основы ислама и до самой кончины помнил много молитв.

Вернувшись из медресе, мальчик стал работать в садах – варил еду для сезонных рабочих. В те годы среди крымских татар практиковалось сдавать в аренду сады русским купцам. В 14 лет уехал в Ялту и стал работать мальчиком в турецких кофейнях, затем нанялся в повар к турку Али Калча-оглу, владельцу маленького ресторана (по-современному – кафе).

Во время Первой мировой войны, в 1916 г., он был мобилизован в действующую армию, отправлен в Севастополь; потом его часть перевели в Симферополь, но по дороге к месту назначения он дезертировал и вернулся домой. Мать уговорила его уехать в Симферополь, где легче было затеряться. Опять работал в турецких кофейнях. Однако по доносу сослуживца был арестован, отправлен в свою часть, где один месяц сидел на гаушвахте. Затем был осужден военным судом на 6 лет и 8 месяцев каторжных работ и в

кандалах отправлен в Харьков. Там он сидел в одной камере с осужденным матросом с крейсера «Очаков» (или «Потёмкин»), который принимал участие в восстании 1905 г. Однако отец пробыв в тюрьме пять месяцев и был освобожден после начала февральской революции. Через месяц его опять призвали в армию. Был на румынском фронте, в Яссах заболел, попал в госпиталь г. Сумы, затем опять был переведён в Севастополь и наконец освобожден от воинской повинности. В советское время он работал сначала поваром, потом шеф-поваром в лучших санаториях Южного берега Крыма: в Артеке, в санаториях Ялты (помню, он называл санаторий «Джалита»), Сименза, Гаспры и др.

По моим детским воспоминаниям, отец мой был высокий (выше 180 см) красивый мужчина с большими голубыми глазами и вьющимися темными волосами. Женится он довольно поздно, кажется, в 1927 г.; через год родился первый ребенок – сестра Эмине. Турок Али Калча-оглу, с которым отец поддерживал дружеские отношения, был женат на русской (моя мама называла её Елей), которая стала крёстной матерью моей старшей сестры – не в христианском смысле, а просто предложила назвать девочку в честь бабушки – Эмине. У этой четы не было своих детей, и мама Еля с удовольствием возилась с Эмине. Сестра до сих пор носит золотые сережки (шестиконечные звёздочки с бирюзой в центре), которые ей в младенчестве подарила мама Еля. После закрытия границы между СССР и Турцией (1933 г.) они уехали в Турцию, и больше о них мы ничего не слышали. В 1933 г. родилась я, а в августе 1941 г. – младшая сестра Алимие.

Моя мать

Мать моя Зера Сеид-Асан была родом из деревни Ай-Василь над Ялтой. Она не знала точной даты своего рождения, называла и 1900, и 1904 годы. Отца своего она тоже не помнила: он скончался, когда ей было несколько лет. Мамину мать, т. е. бабушку мою, звали Алимие. По свидетельству моего дальнего родственника Читак Яя (Ягья) из Ай-Василия (записано с его слов 2 января 1980 г. в Самарканде), мать бабушки Алимие, т. е. мою прабабушку, звали Нази, она была дочерью состоятельного человека, Памухчи Сеид-Асана, который торговал хлопковой пряжей, привозимой из Бухары. Затем он обанкротился. Но род их на южном берегу был известен: среди них старосты деревень, имамы, члены различных выборных комиссий (земских управ?). Рано скончался и муж Алимие, мой дед, который был одаманом – владел довольно большими стадами овец, коней, садами и огородами. Имущество после его смерти было продано, жена была назначена опекуном своих пяти детей: старший сын Мемед (скончался до войны), дочь Урие (скончалась в Узбекистане) в 60-х годах), дочь Зюре (скончалась в первые годы ссылки, там же, в Узбекистане), затем дочь Зера, моя мать, и младший сын Эбазер (умер на строительстве Беломорканала, куда был сослан по доносу односельчанина за то, что он якобы плюнул на портрет С. Кирова в газете).

Мама поздно, по тогдашним представлениям, вышла замуж: ей было 24 (или 28 лет). Они с отцом поселились на окраине Ялты, в деревне Дереккой. Я очень смутно помню бабушку Алимие (в её память названа моя младшая сестра). Черты её лица в моей памяти не сохранились, но помню, как мы с сестрой высматривали из окна дома в Дерекое, не спускается ли бабушка с корзиной в руке по холму Вильга, что находился на границе между Дерекоем и Ай-Василем. Как только мы замечали её (удивительно, как мы вообще узнавали её на таком большом расстоянии!), бежали и встречали её около большого дома, который назывался Панья (Компания?). В её корзине всегда было для нас много вкусной еды.

Как я уже где-то писала, моя мама, её сестры и многие родственники были очень похожи на греков (урумов): карие глаза, нос с заметной горбинкой, смуглота. И это сходство вовсе не случайно. Старшая сестра моей матери, тётя Урие, хранительница родовых преданий, рассказала мне романтическую историю о молодом пастухе-греке, который влюбился в дочь хозяина (моего прапрапрадеда?) и попросил её руки. Хозяин согласился на брак при условии, что грек-христианин примет мусульманство. Тот прошёл обряд обрезания и пр. Так в нашем роду появились грекообразные потомки. Моя младшая сестра Алимие была очень похожа не гречанку. Когда она после окончания института в Ленинграде

один год работала в Ташкенте, где в ту пору было много политиммигрантов из Греции, греки на улицах часто обращались к ней на своём языке.

АЙ-ВАСИЛЬ

В Ай-Василь мы часто ходили в гости – к бабушке, к тётям. Бабушкин дом находился в верхней части деревни. У ворот росла белая шелковица (тутовое дерево) и постоянно текла из трубы чистая холодная вода, подведённая от горного источника. Прохожие всегда останавливались и пили воду.

Деревня Ай-Василь состояла из трёх кварталов: верхний (юкьары маалле, где был дом бабушки), средний (орта маалле, где жила старшая тётя Урие), и боковой, отделенный от двух других садами, огородами и глубоким оврагом, – Араба-ёлу (букв. дорога для арбы, там жила вторая тётя Зюре), потому что туда была проложена дорога для повозок, в то время как в другие части деревни можно было добираться пешком или верхом. Дорога в деревню из города шла через довольно высокий холм Вильга (от греч. *vigla*, ср. латинское *vigilia* – охрана, сторожевой пост, опасность): там было старое кладбище и росло одинокое оливковое дерево, под которым ночью прохожие якобы часто видели джиннов. Проходя мимо того дерева, я всегда испуганно отворачивалась. Вообще джиннов и нечистой силы иного рода в старину там, особенно в овраге, видели очень часто. Мама рассказывала, что во времена её детства *пэри* (нечистая сила в образе женщины с перевёрнутыми задом, наперёд ступнями) запросто сидели и играли с молодёжью в вечернее время на майдане. Узнавали их только по перевёрнутым ступням и в страхе разбегались. Страх перед джиннами был силен и во мне. В детстве я часто видела один и тот же сон: иду ночью из среднего квартала деревни в Араба-ёлу, знаю, что в том месте, где дорогу пересекает овраг, меня ждёт что-то страшное. И я силюсь проснуться и наконец просыпаюсь с боющимся сердцем.

В центре деревни, напротив мечети, стоял двухэтажный дом тёти Урие, весь до крыши обвитый виноградными лозами. (Дом стоит и сейчас.) Осенью они были нагружены спелыми кистями. Но однажды летом я оборвала всю крупную завязь для игры в фантики, которой мы тогда увлекались, поэтому осенью не было ягод до уровня моей поднятой руки. После этого случая меня долго дразнили *фантиком* и насмешливо спрашивали, не хочу ли я опять сыграть в фантики.

Передний дворик дома был весь замощён каменными плитами, которые тётя постоянно мыла с помощью шланга и веника. За домом были хозяйственные пристройки и маленький фруктовый сад. Там хозяйничал страшный белый петух, который имел привычку садиться чужим на голову и клевать в темя. Одна туда я не ходила. (Летом 1976 года, проходя мимо тётиного дома, я жадно осматривала его. Какой он маленький! А ведь в детстве он казался мне огромным. Подошла к забору заднего двора: хозяева как раз собирали сливу. Попросила попробовать несколько штук, и меня угостили. Я ничего не сказала им, но мне стало пронзительно больно и тяжело.)

Дом второй моей тёти Зюре, которая жила в Араба-ёлу, стоял у самого края села; двор резко обрывался оврагом, в котором, все знали это, жили джинны. У самой калитки росли два тутовых дерева – с белыми и черными ягодами. К дому, навстречу, вела мощёная каменными плитами дорожка, обсаженная кустами смородины. Передняя часть дома представляла собой большую, полностью застеклённую веранду, смотревшую на море. Перед ней росло несколько деревьев инжира, черного и белого. Я любила залезать на деревья и срывать только перезревшие, сморщенные, но очень сладкие ягоды.

Муж тёти, дядя Рустем Кайко, до войны руководил табаководческой бригадой. Табачное поле находилось на окраине деревни, на косогоре. Там же был огромный навес, под которым сушили табачные листья и укладывали их в кипы. Я несколько раз сидела под навесом с работницами и тоже нанизывала табачные листья на бечеву с помощью огромных плоских иглол, похожих на маленькие шаги. Бечёвки с нанизанными на них листьями,

как гирианды, подвешивались на длинные, до трёх-четырёх метров, шесты (*сырых*), которые устанавливались рядами на горизонтальных перекладинах под открытым небом. А в дождливую погоду их заносили под навес и укладывали на большой высоте рядами, друг под другом. Время суток – не только на табачном поле, но и дома – определялось не по часам, а по положению солнца на небосклоне в его соотносённости с этими сырыхами. Говорили, например, так: До захода солнца осталось два сырых. Или: Солнце поднялось (над горизонтом) на полтора сырых. Это очень интересный пример этнокультурного концепта, обусловленного традиционной формой жизнедеятельности горных и южнобережных крымских татар.

За рекордный урожай табака дядя Рустем как-то был послан в Москву, на ВДНХ (?). Оттуда он привёз тётке золотые серьги: изумруд в окружении бриллиантов (а может, – жемчужин?). У серёг были очень острые заушники, которыми тётка проколола мне уши и сразу надела их мне для быстрого заживления ранок. Позже дядя Рустем купил мне и двоюродной сестре Дяре, дочери покойного дяди Эбазера, жившей постоянно в их доме, одинаковые серебряные серьги, которые отличались только цветом камней: у меня были синие, у Дяры – зелёные (возможно, наоборот).

Единственный сын тётки Зюре и дяди Рустема – Велиша – пропал без вести на войне 1941–1945 гг.

ДЕТСТВО

Наша семья, как я уже написала выше, жила на окраине Ялты, в деревне Дерекой (теперь это город Ялта), ул. Амбулаторная, дом № 8 (?). Дом наш находился напротив недействовавшей мечети, во дворе которой были очень старые заросшие травой могилы; на них стояли (чаще – лежали) мраморные камни с арабскими письменами. По-видимому, это была очень почитаемая когда-то старинная мечеть. Перед входом в неё особняком находились две могилы, огороженные решётками, с высокими и торжественно-нарядными надмогильными камнями, сплошь заполненными арабскими письменами.

В нашем доме, с жилыми комнатами на втором этаже, в небольшом дворе и на улице Амбулаторной прошло моё детство. Здесь мы жили до дня тотальной депортации крымских татар – 18 мая 1944 года.

Вот одно из самых ранних моих воспоминаний.

Сегодня мама надела светло-зелёное платье со складочками и пуговками на груди, взяла меня за руку, и мы пошли по аллее к морю. Мне уже полтора года, я давно хожу и говорю, но продолжаю сосать материнскую грудь. Через какое-то время я требовательно говорю ей: *Отур да вер мене (Садись и дай мне грудь.)*. Позже мама сказала, что я долго болела коклюшем, и потому, когда подошло время, врачи не разрешили ей отнимать меня от груди. Они рекомендовали также лечить меня морским воздухом, и отец нанимал лодку и катал меня по морю.

Помню, как в летнюю жару мама уводила нас на речку Дерекойку, где она отбеливала постельное бельё на солнце: замачивала, намыливала и затем растилала простыни и полотенца на горячие приречные камни. В наши с сестрой Эмине обязанности входило периодически увлажнять бельё. Мы там играли целый день – прокладывали во влажной земле дороги, строили из песка домики, купались в запруде, ели взятые из дома горбушки хлеба, натертые чесноком и помидорами.

Во дворе нашего дома был водопроводный кран, но за вкусной питьевой водой мама посылала нас с сестрой к дому со странным названием Панья: напротив него находился кран с такой водой. Воду набирали в гугумы – старинные татарские сосуды из лужёной меди. По форме они напоминали греческие амфоры: плоское дно, сужающееся кверху горло с крышечкой, одна ручка. В походе за водой нас подстерегала опасность в виде козла-забияки, который всегда пасся недалеко с группой коз. При виде детей он, воинственно наставив

рога, мчался на нас, и мы в страхе разбежались. Мне был около пяти лет, когда козел сбросил меня с мостика в крапиву. Я отделалась волдырями и испугом.

Я рано научилась читать и писать. Правда, писала печатными буквами. Мои друзья – Мерьем, Тина, Витя – называли меня Адой. И мне очень нравилось писать своё имя большими печатными буквами: А Д А. А папа звал меня Адик, на мальчишечий лад: он очень хотел, чтобы следующий ребёнок был мальчиком, а родилась опять девочка. Но я любила играть в мальчишечьи игры. У меня был лук со стрелами, я их делала сама. Была и рогатка, которую мне смастерил двоюродный брат Дилявер из Ай-Василия. Я очень умело гоняла юлу. Мы их делали сами: отрезали брусочек от ветки, заострили его с одного конца, а сверху красили в разные цвета. Для того чтобы запустить юлу, нужна была хорошая плётка: её конец обматывали вокруг юлы, а потом сильно дёргали. Тогда юла заводилась, как мотор машины, и её надо было постоянно подстёгивать, чтобы она крутилась.

Ещё я умела играть в лянгу. Лянга – это круглый кусочек овечьей шкуры, к низу которого мы пришивали свинцовую пластинку, и тогда лянга хорошо взлетала. Били её только ногами, делая при этом разные замысловатые движения: попеременно двумя ногами; одной ногой, но только на весу (фигура так и называлась – *виси*); заводя ногу за спину (*люра*) и др. Выигрывал тот, кто набирал больший счёт.

Я бегала быстрее всех на нашей улице. Даже быстрее мальчишек. И ещё я не боялась бегать по каменной стене, ограждавшей старое кладбище. Стена эта была довольно высокая, выше моего роста, сверху выпуклая и скользкая. На стенку я залезала с электрического столба, опоясанного снизу проволокой. Раскидывала руки, как крылья, для равновесия, но больше для шика, и бежала до угла, где росла шелковица, хваталась за её ветви, поворачивалась и так же, раскинув руки, бежала назад.

У меня была заветная мечта – иметь трехколёсный велосипед. Да, у меня уже был велосипед, но я его не любила: ободья у него были железные, он был тяжёл и неуклюж на ходу. И вдобавок у него не было звонка. И вот однажды моя мечта сбылась: папин друг, дядя Волик, подарил мне совершенно новенький трехколёсный велосипед, на резиновых шинах, с мелодичным звонком, и я лихо, нажимая на звонок, ездила по нашей Амбулаторной улице и по соседней, Школьной.

В шесть лет меня отдали в детский сад, но в первый же день, после обеда, мне стало плохо (пищевое отравление), и мама забрала меня домой. Через год я опять пошла в этот садик. На этот раз я быстро адаптировалась и завела друзей – Виталика и Мишу (кажется, Щербакова). Это были мои «женихи» – так в детсаду дразнили мальчиков, игравших с девочками. Миша жил по соседству. Мать его была чертёжницей, и в доме у них всегда были большие листы ватманской бумаги. На них мы с упоением рисовали своих детсадовских «врагов» в самом непристойном виде. Так, одна девочка, особенно досаждавшая нам своими дразнилками, была нарисована нами сидящей на горшке.

На прогулки мы ходили в испанской форме: поверх домашней одежды на нас, мальчиков и девочек, надевали одинаковые синие кофты с застёжкой на спине и синие же испанки – пилотки с кисточками. Особой популярностью у нас пользовались испанки с красными кисточками, из-за которых всегда возникали споры. Считалось, что в такой одежде мы выражали свою солидарность с борющейся против фашизма Испанией. Но мы, дети, вряд ли понимали это.

Отзвуки событий в Испании доходили до нас, детей, не только в виде испанок. По соседству с нами, в доме Мазаллы Халил-ака (ака, агъа – уважительное обращение к взрослому, особенно пожилым, мужчинам), квартировал с матерью мальчик из Испании по имени Дантик. Отец его воевал в Испании. Дантик хорошо говорил по-русски: по-видимому, мать была русской.

В детском саду у нас была любимая игра: мы сами, без воспитателей, инсценировали сказку «Спящая красавица»; я обычно была принцессой. Для этой роли я сама сделала себе плюмаж из длинных полос белой бумаги. События в нашей сказке развивались точно по сюжету: принцесса укалывалась веретеном и засыпала. Потом приезжал принц, который

должен был разбудить принцессу поцелуем, но эту сцену мы стеснялись играть и целомудренно заменяли поцелуй уколom колючкой.

Наш маленький балкон выходил на перекрёсток улиц Амбулаторной и Школьной. В дождливые дни мы с сестрой играли на балконе, слушали патефонные пластинки. Рамы балкона были исписаны нашими именами. (Двадцать лет спустя после депортации, перед выходом на пенсию, отец ездил в Ялту, чтобы восстановить с помощью сослуживцев свой трудовой стаж. Он пришел в наш дом; хозяйка, Елена Ивановна, приняла его очень приветливо и сказала, что знает его фамилию и имена детей по этим надписям на раме балконного окна.)

Сестра Эмине дружила с соседской девочкой Нелифер Аметовой. Их дом и двор были любимым местом наших совместных игр. У Нелифер дома было пианино, и она научила нас с сестрой играть на нём: я могла исполнять только собачий вальс, а сестра играла и более сложные вещи, например – «Баркаролу» Шуберта. У стены их дома были навалены длинные доски, которые превращались для нас то в поезд, то в пароход, на которых мы совершали воображаемые путешествия. А на втором этаже дома жил мальчик Витя Носов, у которого были интересные игры, например викторина, много номеров журнала «Музилка» и была настоящая овчарка Динго, которую он воспитывал в подарок пограничникам. Отца и мать Вити я не помню, но явственно вижу его деда, импозантного седого мужчину с белой окладистой бородой, который почему-то называл Витю *Кондратом*. Встретив нас на улице, дед наклонялся, подставлял нам свою щеку, которую мы должны были целовать. И мы это делали всегда с удовольствием.

Дома у Вити мы часто играли в поезд: все стулья укладывали подряд, спинками на пол, усаживались каждый на свой стул-вагон и ехали, куда нам вздумается. Витя всегда был машинистом. Часто играли маленькую пьесу из казахской жизни. У меня была роль мальчика по имени Джереншэ, сестра моей злой махочей Байбичэ. Джеренше по ходу действия мучали, но всё кончалось хорошо, добродетель торжествовала. До сих пор помню свою коронную реплику: *«Ах, эти женщины – женщины! Нет у них ни ума, ни порядка в голове!»*

Последнее предвоенное лето мы жили в Симеизе, где отец работал в каком-то санатории. На лето мы сняли комнату у самой шоссеиной дороги. За обедом я ходила к отцу с судками (до войны были такие комплекты судков, насаживаемых друг на друга, с ручкой) мимо двух огромных индюков, которые страшно гоготали, когда я проходила мимо. У нас была увлекательная игра в камешки: пять круглых небольших камешек мы всегда носили в карманах. Игра состояла из последовательных шагов: на первом шаге один камешек подбрасывался как можно выше и одновременно правой рукой надо было взять с земли или стола как можно больше оставшихся камешек. Затем подбрасывалось сразу два камешка и т.п. Выигрывал тот, кто набирал большее количество очков по количеству пойманных на последнем этапе камешек.

Там же, перед домом, росло раскидистое ижирное дерево с толстой горизонтальной веткой, которую мы называли самолётом. Сестра часто сидела на этом самолёте с книжкой в руках. Однажды, когда она безмятежно читала, сидя на ветке, с соседнего двора, из-за забора, прилетел камень и в кровь разбил ей голову.

В соседнем дворе, откуда прилетела эта «слепая пуля», был огромный общий дом. Каждый вечер кто-то крутил пластинку с популярной тогда песней «Дайте в руки мне гармонь...»

* * *

Крыша нашего двухэтажного дома была покрыта серыми оцинкованными листами. Взрослые попадали на крышу через чердачное окно, но мы, дети, любили сходить на неё с большой горизонтальной ветви ижира. Нужно было обладать сместью, чтобы пройти по ней от основного ствола к крыше. Конечно, было страшно, но так хотелось проверить себя. И так хотелось туда, на крышу!

Вот я на крыше! Здесь жарко: оцинкованные листы пашут жаром. Но зато – какой обзор! Я смотрю прямо на горы. Вон там, высоко в горах, одиноко белеет длинный дом. Знаю: это санаторий для туберкулёзных детей. Татары называют его *Даласи*.

А ниже – Ай-Василь – деревня, где живут все мои родственники по материнской линии. А справа от Ай-Васили – Массандра. Там делают вино. Недавно наша детсадовская группа ходила туда на прогулку.

А теперь повернусь спиной к горам. Прямо передо мной – крыша амбулатории. Наша улица так и называется – Амбулаторная. Там, на втором этаже, живет моя подруга Алла. Её отец, художник, недавно написал мой портрет: я в купонном платье сине-белого цвета. Коротко остриженные прямые чёрные волосы, чёлка. Одна прядь торчит на макушке. Строгое, не улыбающееся лицо. Но теперь я с Алкой в ссоре. В прошлое воскресенье, когда мы поднимались к верхней канавке запускать лодочки, она вдруг подняла камень и бросила в меня. Прямо в левый висок. Сегодня повязку сняли, но рубец, наверно, останется на всю жизнь.

Самое-самое интересное, ради чего я, дрожа от страха, пробираясь на крышу по ветке, – это возможность писать и рисовать. Я беру красные тутовые ягоды и рисую ими по горячим листам крыши. Красный сок сразу же синее. Вот сейчас я нарисую волшебный цветок в форме кувшинки с зазубренными лепестками. Нет, лучше я напишу своё имя – его я уже умею писать. Бо-о-о-лымишми печатными буквами пишу: А Д А. Интересно, кто-то сверху, с неба, увидит моё имя? Кто-то же должен его увидеть! Кто-то же есть там!

Я поднимаю голову и долго смотрю в ясное синее небо, льющее на землю, на крышу и на меня потоки тепла.

Это было 21 июня 1941 года.

Завтра была война...

ВОЙНА

Война.... Мне было около восьми лет, когда она началась. И я совсем не помню первого дня, не слышала обращений Молотова и Сталина к народу. Но война вошла в мою жизнь страшными картинками пожаров, бомбёжек, виселиц, голодом и.....депортацией.

Почти с первого дня войны Ялту бомбили немцы. Как только начинал звучать сигнал тревоги, мы брали в руки узлы и бежали в деревню Ай-Василь: там нам казалось безопасней. В дни отступления Советской Армии мы жили в Араба-ёлу, у тётки Зюре. Днём все уходили за деревню, ближе к лесу, прятались в кустах ежевики, а ночью спали в подвале её дома. Подвал был специально оборудован дядей Рустемом: перед входом были навалены мешки, наполненные землёй; пол был засыпан сеном, а сверху застелен овечьими шкурами, на которых мы спали. Собственно, спали дети, а взрослые сидели и всю ночь читали молитвы. Одну из них, короткую, из трёх строчек, охраняющую от всех напастей, я, как и все, читала во время бомбёжек и обстрелов с моря и помню её до сих пор.

Красная Армия оставила Ялту накануне ноябрьских праздников 1941 года. И сразу же в городе начались ограбления магазинов; люди уносили всё, что попадалось на глаза: муку, картошку, одежду, игрушки. Мама с соседями побежали к продовольственным складам, которые были облиты керосином и подожжены уходящими войсками. Помню, как некоторое время мы ели картошку, пахнущую керосином.

Мы с соседскими детьми тоже побежали в город. Проходя мимо магазина «Пассажа», мы с сестрой увидели в его разбитых витринах разные игрушки. А на тротуаре валялись коробки с металлическими брошками в виде чаек, несущих в клювах пластинки с разными именами. Присев на корточки, я стала искать брошки с нашими именами. Не найдя нужного, я взяла сразу несколько коробок, и с этой добычей мы вернулись домой. Мама отругала нас за самовольный уход из дома и долго смеялась над нашими брошками: кому они нужны во время войны? Однако впоследствии, когда мы очень голодали, отец вместе с соседями пешком, с самодельной тачкой отправился «на обмен» в богатые степные сёла, и ему удалось обменять каждую брошку на одно яйцо. Так мы были реабилитированы в глазах мамы.

Уходя из города, советские войска вылили огромное количество вина из массандровских винподвалов прямо в речку Дерекойку. Несколько дней мимо нашего дома текла красная пенистая вода, сильно пахло вином. Люди ходили к тому месту, где из труб в речку стекало вино, и ведрами и чайниками черпали его. Но часовой, стоявший у трубы, стрелял в тех, кто подходил близко.

Вот так! Пусть стратегически важные продукты не достаются врагу! Но ведь всё это можно было раздать жителям, своим – советским – людям, руками которых всё это добро было сотворено и которых ожидало страшное военное лихолетье. Но о нас никто не подумал.

Как только немцы вошли в город, по рукам стали ходить листки, на которых было написано: *«В городе Иерусалим открылось небо. Слышали голос Спасителя. Натищите таких десять листов, передайте другим лицам»*. Мы с сестрой не знали, что это за город Иерусалим и кто такой Спаситель. Но чувствовали: кто-то просит нас о помощи. И вечерами, при керосиновой лампе, писали такие листки и раздавали их своим знакомым. Потом заметили, что по городу ходят люди с нашитыми на груди и спине жёлтыми шестиконечными звёздами. Через некоторое время их не стало.

С первых дней войны обнаружилось отсутствие самых необходимых вещей: хлеба, соли, спичек, мыла, угля и пр., т.е. таких вещей, наличие которых не замечается в мирное время. Я с соседскими детьми стала ходить за дровами: мы обходили все близлежащие сады и собирали сухие ветки. Во время таких походов я открыла для себя красивые места в окрестностях нашего села. Вдоль речки, возле старой мельницы, мы вышли на поляну, сплошь заросшую крупными ромашками. Какое-то праздничное чувство охватило меня: вокруг – высокие, до самой моей груди, крупные цветы с белыми головками, на которых ещё сверкают капли росы. Я сплела себе венок из ромашек, – не венок, а сияющий нимб. И никогда позже я не попадала на такую цветочную поляну. И, пожалуй, никогда позже, надевая красивые летние шляпки или меховые шапки из норки, лисы, я не испытывала такого праздничного чувства осиянности.

Однажды днём, когда я с соседскими детьми играла на улице, под нашим балконом остановилась немецкая грузовая машина. В кабине сидел молодой немец. Все разбежались, а я осталась: вот мой дом, чего же мне бояться! Немец не выходил из кабины, иногда поглядывал на меня. Я осмелела и подошла ближе. Неожиданно он открыл дверь кабины и сказал мне:

– Komm her!

Я испугалась и убежала в дом. Вышла на балкон. Машина всё ещё там. И немец в кабине. Наконец машина ушла.

Через два дня эта машина вновь появилась у нашего дома. Я уже смело подошла к ней. Немец опять открыл дверь и позвал меня. И я с трудом взобралась на высокую подножку и уселась на упругое кожаное сиденье. Немец улыбнулся, посмотрел на меня вопросительно и произнёс:

– Bon-bon?

Я уже знала, что такое бон-бон. Это плоские круглые леденцы. Я утвердительно кивнула, и он протянул мне конфеты.

Надо бы что-нибудь сказать ему. И я спросила:

– Что такое Was ist das?

Я действительно не знала, что это значит. Он ответил с акцентом:

– Что это есть такое?

Наверно, он меня не понял. И я опять задавала свой вопрос, и он отвечал по-прежнему:

– Что это есть?

Тогда я спросила, как его зовут.

– Ernst, – сказал он, очень картаво произнося звук **Р**, и мне послышалось – Энтс. Я назвала своё имя – Адилё. Он повторил:

– Adèle, Adèle – и что-то ещё добавил.

– Нет, не Адэле, а Адиле, – повторяла я, но он упрямо произносил по-своему: Adèle.

Эрнст приезжал ещё несколько раз и всегда вызывал меня, нажимая на клаксон. «Адиле, твой немец приехал», – говорила мама, и я сразу выбегала и взбиралась к нему в кабину. В последний свой приезд он долго что-то говорил мне, но я ничего не разобрала, кроме имени Adèle.

Настал 1944 год. В апреле советские войска освободили Крым. Конечно, мы все радовались: *Наши пришли!* Все были уверены: скоро война закончится, скоро жизнь наладится.

Не прошло и месяца....

ДЕПОРТАЦИЯ

Рано утром, 18-го мая 1944 года, нас разбудил стук в дверь. Вошел офицер с двумя солдатами и объявил, что все татары выселяются из Крыма. Посоветовал взять с собой как можно меньше вещей. а сборы дали 20 минут.

Мама ударилась в панику: муж в отъезде (его, как и всех мужчин, призвали в армию), на руках трое детей – от двух с половиной до четырнадцати. С причитаниями она металась по комнатам. А офицер ходил за нею по пятам, присматривался к вещам, говорил, что ему у нас нравится, что он сам здесь будет жить.

Что же взять с собой? Вот это большое одеяло: хватит всем четверым укрыться. О документах (свидетельства о рождении, паспорт, трудовая книжка отца и др.) она и не вспомнила. Я же схватила свое самое большое «богатство» – синий бархатный ридикюль с ручкой-петлёй, в котором хранились две нитки бус, и больше не выпускала его из рук. Мы вышли из дома с тем, что смогли взять в руки.

Вышли навсегода.

Офицер сам запер входную дверь и взял с собой ключи.

На месте сбора, у моста между Дерекоем и Ай-Василем, на узлах и мешках сидели соседи. Слышались громкие голоса, плач. Ждали долго. Время от времени кто-то уходил домой и возвращался с новыми вещами. Тут мама и спохватилась: не взяла ничего из еды и посуды. Старшая сестра с малышкой осталась там, а мы с мамой садами – по дороге идти боялись – вернулись домой.

Двери были запорты, ключей у нас не было. Мама приставила к окнам балкона лестницу, разбила стекла, и я проникла в комнату. По совету мамы, взяла ножницы, кастрюлю, три большие ложки и одну маленькую (для младшей сестры). Сняла с подушки наволочку и насыпала в неё немного муки. Козу-полицу, купленную две недели назад на последние деньги, мы отвели к соседке, казанской татарке. К ней же отнесли швейную машинку и большой персидский ковёр. Наверно, мама думала, что мы скоро вернемся.

В ожидании машин присидели до самого вечера. Рядом ходили солдаты и офицеры. Несколько раз попался на глаза и тот офицер, который утром заходил к нам. В его руках был мой новый зелёный портфель. В нем что-то звякало. «Наши серебряные ложки», – сказала мама. Он взял их на её глазах.

Уже поздно ночью нас погрузили в грузовые машины и повезли через Ай-Петри на какую-то железнодорожную станцию. Ночью же нас посадили в товарные вагоны. Более бойкие и сильные заняли лучшие места – на нарах. Нам досталось место на полу, у самых раздвижных дверей.

Первые дни нас не кормили. На каждой остановке все высыпали из вагонов. Женщины быстро сооружали очаги из камней, кирпичей, ставили на них кастрюли, чайники. Несколько раз мама пыталась сварить взятую из дому тушку курицы. Но не успевала вода даже закипеть, как раздавался крик конвойных: «По вагонам!». И все бежали с горячими

кастриями в руках и, на ходу цепляясь за протянутые руки, переваливались в вагон. Мама часто не успевала приготовить нам еду, но зато она оставалась с нами.

А сколько людей, особенно старых и больных, отстали от поездов и навеки разлучились с родными! А сколько умерших от голода и болезней остались на перронах и вдоль колен после отхода поездов!

Через некоторое время в вагонах наладился какой-то быт. Были выбраны старосты, которые приносили и распределяли хлеб. На больших станциях несколько раз раздавали суп.

Ехали около двадцати дней. Грязь, антисанитария, запах немых тел. Но мы, дети, быстро свыклись со своим положением, потому что не понимали всей глубины постигшей нас трагедии. У нас появились новые друзья. Как только поезд трогался, мы садились в дверях вагона, свесив ноги (двери закрывались во время переезда через мосты и другие, надо полагать, стратегически важные пункты), с любопытством смотрели по сторонам, радовались хорошей погоде и тому, что *«мы едем, едем, едем в далекие края»* (из детской песенки тех лет).

Иногда в вагоне раздавалось грустное пение. В нашем вагоне у кого-то нашлась скрипка. А у старшей сестры был хороший голос – меццо-сопрано. Её просили петь, и она пела старинные народные песни под аккомпанемент скрипки. Очень скоро, уже на второй неделе нашего скорбного пути на чужбину, начал складываться вагонный фольклор: сочинялись новые тексты, которые исполнялись на мотивы старых песен. Когда сестра пела:

Къолай дегиль встандан айрылмакъ. - (Как трудно расставаться с родиной!)
Биз агълемей, кимлер агълесин? - (Кому же плакать, как не нам?) –

все в вагоне подпевали и плакали.

Наша семья ехала без отца. Его, как и всех взрослых мужчин, за несколько дней до выселения мобилизовали в трудовую армию. Он был в Симферополе. Заночевал у знакомых. А когда объявили о выселении, ему не разрешили вернуться в Ялту, и он поехал с хозяевами дома.

Мысль разыскать нас не покидала отца. 31-го мая, рассказывал отец, их выслали на станцию Великоалексеевская (под Ташкентом) и повезли в какой-то совхоз, километров за 5 – 7 от железной дороги. Ежедневно в течение недели отец ходил оттуда на станцию в надежде узнать что-нибудь о ялтинцах. Утром 6-го июня он сидел в чайхане недалеко от станции. Кто-то крикнул, что идет очередной татарский поезд. Отец бросился к поезду. В каком-то вагоне увидел знакомых, которые сообщили ему, что мы в 17-ом вагоне. Он начал отсчитывать вагоны. А нам тоже успели сообщить, что отец идет нас. Соседи освободили проход, и мы, три девочки, встали в дверях вагона, высматривая отца. А мама от волнения не смогла встать на ноги: она сидела на вещах и плакала. И вот мы увидели спешащего отца, нашего высокого, сероглазого, самого красивого на свете. «Папа! Папа!» – закричали мы. Заплакали женщины.

Далее отец поехал с нами.

«Бир эмми хайырым вар эди» («Когда-то я сделала доброе дело»), – не переставала до самой смерти говорить моя мама, вспоминая этот день. Это был действительно великий день в нашей жизни. Это было наше спасение. И если никто из нашей семьи не умер в те трудные годы, то этим мы обязаны счастливому случаю, соединившему нас с отцом. И ещё, несомненно, – трудолюбию и упорству матери.

Мама! Как она боролась за нашу жизнь! Выросшая в крестьянской семье, с детства работавшая на земле, она с первых же дней жизни на новом месте завела огород. Она научилась варить нам кашу из незрелых кукурузных зёрен. Из картофельных очистков пекла горьковатые на вкус черные лепёшечки. По ночам ходила поливать огород. Работала на износ, не жалея себя. И раньше всех ушла из жизни. И лежит она одиноко на кладбище в маленьком среднеазиатском городке, так далеко от своего родового погоста в Ай-Василе, где покоится прах всех её предков. Увы нам! Нет давно того погоста. И других старых татарских кладбищ в Крыму нет: их стёрли с лица земли, построили там дома, а надмогиль-

ные камни растащили для строительных нужд. И живут там люди, не ведая, что ходят по костям многих поколений татар.

Ах, мама! В тебе было столько жизненных сил и энергии! Ты была так упорна и неутомима в достижении своих целей! В чем было назначение твоей жизни? Я не знаю ответа на этот вопрос. Может, в том, чтобы вырастить трёх дочерей? Вдохнуть в них душу? Научить родному языку и родным песням? Я принимаю к твоей могиле и плачу. Я не могу сказать даже: «Спи спокойно, мама».

Разве в чужой земле спится спокойно?!

СОВХОЗ ДАЛЬВЕРЗИН № 2

Товарный поезд, в котором нас везли в ссылку, 6 июня 1944 г. остановился на железнодорожной станции Хилково Ташкентской железной дороги. Нас выгрузили прямо на землю, рядом с колеей. Через какое-то время стали подходить грузовые машины. Предлагали ехать в совхозы под странным названием Дальверзин или на заводы в Ташкенте. Отец уговаривал маму поехать в Ташкент на авиационный завод, но она сказала: где соседи, там и мы. И мы попали в овощеводческий совхоз Дальверзин №2, обслуживавший Фархадстрой (строительство Фархадской ГЭС).

Жилье для спецпереселенцев не было готово. Первые несколько месяцев, до осенних холодов, мы все жили прямо на земле, под деревьями, перед зданием школы. Потом достроили бараки спецпосёлка, часть татар поселились там, а нам выделили маленькую комнату с цементным полом в клубе. Кажется, это была будка для киномехаников: в стене было отверстие. Мебели не было. Мы сидели, ели и спали на полу, который мама устелила соломой (или травой?). Во дворе она соорудила очаг из двух кирпичей, на котором готовила нам пищу. Через несколько недель мама завела огород – посадила кукурузу, маш, кажется, какие-то овощи. Отец нигде не работал. Одежды и обуви у нас не было, поэтому мы с сестрой в школу не ходили. Раз в день спецпереселенцам в общественной столовой давали по тарелке супа. Хлеб, как и везде в те годы, выдавали по талонам. За хлебом обычно ходила я. Помню до сих пор многочасовые очереди и упоительный запах свежего хлеба.

Мы голодали и часто болели. Продавать было нечего. И отец решил поехать в совхоз «Улус» Самаркандской области и найти мамину сестру Зюре, у которой хранился узелок с маминим наследством – золотыми монетами, которые некогда были нашиты на её свадебной феске.

И папе удалось съездить туда. Но ему помог счастливый случай.

Вот как отец рассказал нам об этом впоследствии. Он нашёл тётину семью, взял наш узелок и тронулся в обратный путь. В Самарканде надо было садиться на поезд. Но у него не было разрешения на выезд, и потому он боялся подойти к билетной кассе. Несколько дней крутился вокруг железнодорожной станции, надеясь договориться с проводниками. Но те не рисковали брать спецпереселенца. На ночь отец возвращался в город и ночевал где-нибудь под деревьями, в кустах. Кончились деньги. Он уже совсем отчаялся. Что делать? Как вернуться к жене, детям, которые ждут его, голодные и больные?

Прошёл очередной поезд в сторону Ташкента, но ему опять не удалось сесть на него. Побрёл усталый и голодный в город. Денег нет, но вытащить из узла монетку и продать её отец боялся: увидят, убьют и возьмут всё остальное. Надо терпеть! И он пошёл к чайхане. Идёт, а навстречу ему офицер, кажется, капитан. Отец боится смотреть на него, чтобы не привлечь к себе внимания. А тот, приближаясь, почему-то очень пристально смотрит на отца. «Ну, пропал, – подумал отец, – Сейчас спросит документы и арестует». Сворачивать некуда. Отец ускорил шаг и, уже пройдя несколько шагов, вдруг услышал: «Эй, погоди!» Остановился, а офицер продолжил: «Мемет, это ты что ли?» И только тут папа повернулся и внимательно посмотрел на офицера: Волик! Это был крымский друг отца, они работали вместе. Оказалось, что Волик служит в пристанционной комендатуре. Он повёл отца к себе

домой, там была и его жена, которую отец тоже хорошо знал. Его накормили, уложили спать. А на следующий день Волик выписал отцу пропуск, купил билет и дал с собой денег.

– Вот что значит старый друг, – сказал папа. – Ваш дядя Волик не испугался, что я теперь слышный, нарушивший режим спецпоселения. Хороший человек – всегда хороший, и это не зависит от его национальности и занимаемой должности. Если бы не Волик, гнить бы мне вдали от вас в лагере. Да и вы не смогли бы выжить без меня. Так что, считайте, что всех нас спас Волик.

Все мы, кроме младшей трехлетней сестры Алиме, заболели тяжелой формой малярии (паппатачи, но все говорили – *паппатач*). Приступы начинались одновременно: мы все лежали на полу рядом друг с другом, а когда проходил озноб и начинался жар, Алиме подавала нам воду. Однажды по дороге с джума-базара у нас с мамой одновременно началась приступ малярии. Мы несколько часов провалились в полубессознательном состоянии в сухом придорожном арыке. Позже (может, следующим летом) на этом же базаре мама купила нам с сестрой тряпичные туфли с подошвой из шины (их делали на продажу корейцы) и домотканый ситец в розовую клеточку (ткали узбечки на старинных ткацких станках), из которого сшила нам к лету платья (татьянка с рукавом-фонариком).

Потом отец стал работать поваром в столовой для спецпереселенцев, и я каждый день ходила с кастрюлей в столовую (давали по тарелке супа на члена семьи). Хлеб выдавался по карточкам. За ним обычно ходила я на другой конец совхоза. Долго стояла в очереди, ожидая подвоза хлеба. Потом медленно шла домой и по дороге отщипывала маленькие неровности корочки.

Позже нам выделили комнату в доме на самой окраине совхоза; за домом был арык, а за ним овощные поля. Мы со старшей сестрой в первый год (возможно, и во второй) в школу не ходили – работали на полях. Как прошла первая зима, не помню, потому что у нас не было обуви и тёплой одежды, и мы сидели дома. К весне я стала выходить, сидела под стеной дома, грелась на солнце и рассматривала свои «сокровища» – перебирала осколки битой фарфоровой посуды (чайников, пиал, узбекских глубоких тарелок), которые зимой я зарыла в ямку. К лету сделала себе турник – закрепила между ветками двух деревьев перед домом толстую палку и выделывала на турнике разные фигуры: висела на коленях, пыталась подтягиваться.

В соседнем доме жила корейская семья, с дочерью которых, Таней, подружилась моя старшая сестра Эмине. Таня запомнилась мне по нескольким причинам. У нее было красивое «солнечное» платье из желтого подкладочного атласа, с юбкой в складочку, от которого я не могла отвести глаз. Её мать иногда «жарила» во дворе, в большом чугунном котле, заполненном песком, кукурузные зерна, которые лопались и превращались в мягкие белые «цветочки», которые мы с удовольствием ели. А однажды они нас угостили рисовой кашей, сваренной на чистом молоке. Вкус этой божественной каши я помню до сих пор.

Следующим летом мы посадили пшеницу. Когда она стала созревать, соорудили на крестовине пугало, но птицы стаями садились на наш участок. На соседние – тоже, поэтому вокруг всегда были люди, дети и взрослые. Я целые дни проводила на поле, отгоняя птиц деревянной трескоткой. А когда пшеница окончательно созрела, я и мама ночевали там около недели прямо на земле (благо, ночи были жаркие): охраняли урожай уже от воров. Жали пшеницу серпами. Помню, как молотили снопы: разложили их на земле к'ут'ом, колосьями к центру, откуда-то привели лошадей, а папа стоял в центре и понаук лошадей ходить по кругу. Измельченные колосья потом просеивали на ветру: поднимали высоко миску с этой массой и просто сыпали потихоньку на землю, а ветер относил полову в сторону.

Однажды я чуть не утонула. В летний зной дети часто ходили купаться на Большой арык. Он действительно был большой – шириной около трёх метров, заполненный мутной водой. В самом широком и глубоком («с головкой») месте был мост из брёвен, с которого дети ныряли в эту муть. Я не умела нырять, боялась и потому чувствовала себя уязвимой. В один из жарких дней после ухода детей я осталась там одна. Долго сидела на бревнах, охваченная искушением нырнуть и преодолевая страх. Всё же нырнула, вниз головой, а не

«солдатиком», как делала это раньше. Меня долго кружило в воронке, и я понимала, что тону. Наконец вода вытолкнула меня далеко от моста, на мелком месте. Перепуганная, дрожащая, я выползла на берег и долго лежала, приходя в себя. До сих пор перед глазами эта картина: огненное око солнца в белёсом небе, безлюдные поля, в центре мутный арык, на берегу которого лежит с закрытыми глазами загорелая до черноты худенькая девочка.

Я знаю, что я тогда тонула. Но Создателю почему-то было угодно оставить меня на этом свете.

БЕГОВАТ

Через два года (1946 г.) отец решил поехать в город Беговат и поискать там работу. Стал работать поваром в столовой Фархадтранса. Он договаривался с шоферами, и раз в неделю кто-нибудь по пути забирал меня к нему. Папа давал мне несколько буханок хлеба, которые нам полагались по карточкам за неделю, и я ехала обратно. Помню, как я стояла в кузове, крепко ухватившись за перекладину над кабиной, а в ногах лежала торба с хлебом.

К лету 1946 мы все переехали из совхоза в город. В первые месяцы снимали комнату в узбекском доме: пол глиняный, стены небеленые, из сырцового кирпича, с нишами для одеял и подушек.

Через несколько месяцев родители купили за 500 рублей (это тогда было недорого) глинобитный корейский домик из двух маленьких комнат; в первой не было никакой мебели, пол был застелен циновками, под ним шёл спиралеобразный дымоход корейской печки. Мы сразу же разобрали печку и заставили всё мебелью: кровать, топчан-сет, стол, железная печка. Во второй маленькой комнате еле поместились кровать и столик, за которым я делала уроки. Позже там же появился сделанный пленными немцами деревянный сундук. Был электрический свет, но голая лампочка висела под потолком, плохо освещала стол, может, поэтому у меня рано проявилась близорукость: никто ведь не знал, что свет на рабочее место должен падать слева. Обе комнаты были сыроваты, т.к. стены были сложены не из кирпича, а просто из глины (узбеки так делали заборы и стены – из *пахсы*). Потолок был покрыт камышом, из которого иногда падали скорпионы; позже мы закрыли его плотной жёлтой бумагой, из которой делались крафт-мешки. Стены снаружи и крышу приходилось время от времени цементировать, чтобы влага не проходила внутрь. Через год сделали пристройку, которая считалась кухней. Туалет был во дворе. Мама завела огород, посадила деревья, виноград. Была у нас и коза с козленком, которые в первую зиму ночевали с нами в комнате. Потом построили для них сарай. Я выводила их пастись, каждый день собирала для них траву и приносила её в мешке. Коза была дойная, поэтому она носила «лифчик» – специально сшитый мешочек, чтобы козлёнок не высосал всё молоко.

Помню, как к нам домой приходили два пленнх немца (без охраны) и мастерили из досок что-то для дома: топчан, стульчики, забор, сундук. Иногда пели на немецком языке песню с таким припевом: *Treiben, treiben, treiben ich lichten...* Кажется, это была не очень приличная песня, потому что они при этом как-то лукаво улыбались. Помню также, как мимо дома колонной, под конвоем, проходили и пленные японцы. (Наверно, в Беговате есть захоронения военнопленных, разумеется, без памятных знаков. Слышала, что в последние годы в Узбекистан приезжают в поисках таких могил отомки пленнх немцев и японцев.)

До конца 40-х годов за домом шло рытьё канала для отвода воды реки Сыр-Дарья на строящуюся Фархадскую ГЭС. Тула с окрестных кишлаков по разнарядке привозили людей, мужчин и женщин, которые рыли землю и выносили её на носилках наверх, на дамбу. Там не было землеройных машин, я видела всего один маленький экскаватор и несколько водомётов. Люди с носилками за плечами шли друг за другом, конвейером, по деревянным настилам и ступеням. Все рабочие жили там же, в землянках. Как было принято в те годы, между бригадами устраивались соревнования, на утренних линейках объявлялись победители. Сколько дней или месяцев работали припуганные люди, не знаю. Периодически при-

возили новые партии людей. Наконец пошла вода (в 1947 или 1948?). Мы, дети и взрослые, ходили на канал купаться. Там я научилась плавать. Ширина канала была, кажется, до 60–100 м. На ту сторону мы обычно плавали на автомобильных надувных баллонах. Течение было довольно быстрое, пристать к тому берегу не всегда удавалось, но мы почему-то рисковали и делали это, наверно, из детского бахвальства или желания самоутвердиться.

Училась в средней школе №1 им. Сталина, в центре города. Пошла сразу в 5-ый класс. Училась на отлично. Была, как все, комсомолкой, в старших классах – председателем учкома (ученического комитета). Учеба в первые годы была платной, позже плату отменили. Помню, как в школе устраивались торжественные линейки по всяким поводам, например, по поводу отмены карточной системы (кажется, в 1947).

Дружила с кореяной Ан Идой. Корейцев в городе было много: почти половина учеников были корейцы. Помню одноклассницу Цай Галину, с длинными, ниже пояса, толстыми косами, Ким Василия, от которого всегда страшно пахло табаком. Старшеклассник Ан Владимир был секретарём школьной комсомольской организации.

Дружила с жившей по соседству Галой Куниной, отец которой занимал какую-то важную должность в Фархадстрое, кажется, – инженер. Гале откуда-то привезли шикарную платё (американская гуманитарная помощь по ленд-лизу, то что сейчас – Secondhand): ткань типа штапеля, солнце-клев, кимоно. Конечно, и мне захотелось такое: мама сшила что-то похожее из ситца. Потом Гале сшили из розового крепешина платё с буфами, рукавом-фонариком. И я выпросила точно такое же. Сохранилась фотография: Гала, я и Алла Бутенина (одноклассница из Сретенки, которая короткое время жила у Галы) – все в одинаковых крепешинных платёх.

С Галей мы дружили до отъезда их семьи в г. Ленинск Андижанской области (в 1948?). После её отъезда у нас завязалась оживлённая переписка с ней и с её новыми друзьями – мальчиками Лёней Тынчеровым и Эдиком Енгальцевым. Мы задавали друг другу «философские» вопросы и писали на эти темы многостраничные ответы. Так, я исписала около десяти тетрадных страниц на тему «Что выше – любовь к женщине или любовь к родине?». Конечно, я ничтоже сумняся утверждала, что вторая любовь выше. Это был мой первый «научный» трактат. Помню, какое наслаждение я испытывала, когда мне удавалось вставить в текст всякие мудрёные слова: *миссия, отнюдь, целеполагание* и т.п.

В старших классах подружилась с Ниярой Исмаиловой. Каждое воскресенье мы собирались вместе делать чертежи – то у нас дома, то у Нияры, то у Иды. Ни с кем из них после отъезда из Беговата не виделась. Только с Ниярой Исмаиловой до сих пор поддерживаю дружеские отношения. Она вернулась с семьёй на родину в самом начале 90-х годов, живет в Бахчисарае, где и родилась до депортации. Там же до сих пор стоит двухэтажный дом её родителей, который им не принадлежит: никому из крымских татар, вернувшихся на родину, до сих пор не удалось вернуть свой дом даже при наличии всех документов, подтверждающих право собственности, потому что в Конституции Украины нет соответствующей статьи.

Характерные приметы того времени: китайские душещипательные кинофильмы; танцы в городском парке, вход куда был платный (платили дважды – сначала, чтобы войти в парк, потом отдельно – чтобы зайти на танцплощадку); песня «В городском саду играет духовой оркестр», которую часто транслировали из уличных репродукторов.

Мои любимые школьные учителя: по географии – Осман Николаевич Эбасанов (мы тогда не знали, что он был одним из активных участников крымскотатарского национального движения), по русскому языку и литературе – Екатерина Моисеевна Муминова (муж был таджиком, директором узбекской школы, которая находилась рядом с нашей), по математике – Софья Борисовна Зальцман. Был странный историк, неуклюжий, некрасивый, в очках, похожий на Пьера Безухова, по фамилии Авакумов (имени не помню), который при объяснении нового материала смотрел только на меня; он же приносил мне читать большие тома «Истории дипломатии». Преподаватель узбекского языка вообще не вёл занятий. Он приходил, садился за стол, вызывал меня к доске и говорил: *Читай и переводи.*

Потом я объясняла одноклассникам, как выполнять домашнее задание. Так совершенствовался мой узбекский язык.

Я была всегдашним читателем городской библиотеки, много читала. В библиотеке меня хорошо знали, доверяли самой рыться на книжных полках. Именно тогда я прочла все программные произведения русской, советской и зарубежной литературы, поэтому позже на филфаке мне было легко учиться: я хорошо знала содержание изучаемых произведений.

По окончании школы я рвалась учиться дальше. Но выехать в другой город не могла до получения разрешения из республиканского управления (в Ташкенте) по делам спецпереселенцев. Долгожданное разрешение пришло 19-го августа, и 21-го я уже была в Узбекском государственном университете (Самарканд), на зачислении. И здесь мне дважды помог Случай: я приехала именно в день зачисления, ни днем позже, и была зачислена без экзаменов, потому что в те годы медиалисты не сдавали вступительных экзаменов.

УНИВЕРСИТЕТ

В моих руках красная записная книжка студенческих лет – «Святая святых – Sancta sanctorum», в которой есть записи начиная с 30-го декабря 1952 г.: значит, я на 1-ом курсе. В книжке – всякие мудрые мысли, не мои, а известных людей. Например: «Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее» (В.Белинский). «Не будь у нас пороков, нам не доставляло бы такого удовольствия замечать их в других» (Ларошфуко).

Как же прошли пять студенческих лет? Чем они запомнились?

Жилось трудно, безденежно, скудно. Конечно, родители помогали мне чем могли: ежемесячно присылали посылку с едой; иногда давали денег. Но одежда и обувь приобреталась дома, во время летних каникул. На зимние каникулы я почти никогда домой не ездила, потому что их у нас фактически не было: в связи с затянувшейся хлопковой кампанией их всегда сокращали до нескольких дней. За это время не успевала обернуться: поездка в сторону Беговата ходила через день, на узловой станции Урсатьевская надо было делать пересадку или ехать попутной машиной. Дорога была недалёкая, но опасная: вокруг полно было грабителей и воршиек.

Помню, однажды я все же поехала домой на зимние каникулы. До Урсатьевской доехала на поезде, оттуда попутной грузовой машиной, груженной досками, поехала в Беговат. Сидела в кузове на этих досках, ухватившись за борт. Примерно на середине пути, неожиданно для этого времени года, из края в край неба перекинулась радуга. Я посчитала это благим знамением и загадала желание: если проеду под радугой, будущее мое будет прекрасным.

После наступления темноты, боясь ограбления, мы старались не выходить из общежития. И все же такая напасть случилась и со мной. С сокурсницей Светой мы собрались в кино, на вечерний сеанс. Зная, что придется возвращаться в темноте, мы предусмотрительно сняли с рук часы и оставили в комнате всякие колечки-серьжки. Уже перед воротами университета дорогу нам перегородила группа подростков, которые быстро оцупали кисти наших рук и вырвали из рук сумки. В те годы в моду вошли миниатюрные чемоданчики, с ними мы ходили на занятия, но при необходимости могли засунуть туда и кусок хлеба, пачку сахара и т.п. Мальчишки вырвали из наших рук чемоданчики и скрылись. Когда мы, напуганные, в полуобморочном состоянии, пришли в общежитие, оказалось, что мои пальцы были порезаны: такие воршики для устрашения всегда держали в руках обломок лезвия. Было жалко чемоданчика и денег (там было 40 руб., ср. с месячной стипендией – 180 руб.), но больше всего меня огорчило то, что пропали мои очки. В те годы хорошая пара очков была в дефиците. Знакомые местные парни, жившие недалеко, пытались выйти на грабителей и вернуть мне очки, но ничего не удалось.

На первом курсе я попала в комнату, где жили двадцать человек. Это была длинная казарма с рядами кроватей с провалившимися пружинами. На всё общежитие была одна

общая кухня, куда мы ходили со своими электроплитками: в комнатах их включать не разрешалось. Подолгу приходилось ждать, пока освободится розетка. Душа и туалета в здании не было – только длинный общий умывальник с рядами сосочков, под ним на ножках стояло такое же длинное зажатенное корыто. Туалет во дворе представлял собой ряд открытых, без дверей, кабин, где нужду справляли, присев на корточки. Остальные гигиенические процедуры приходилось совершать в комнатах, над тазами. И эти условия считались сносными, особенно по сравнению с теми, в которых мы месяцами жили во время хлопковой кампании. (См. об этом далее.) Купаться раз в неделю, по субботам, мы ходили в городскую баню.

Были и маленькие радости: в нашем общежитии еженедельно устраивались танцы. Танцевали под радиолу, без всяких условностей выходя из комнат прямо в домашних халатах. Помню свой новый, синий с белыми цветочками, фланелевый халат, расклепанные полы которого красиво, как мне казалось, вздымались во время танца. Танцующих парней было меньше, чем девушек, поэтому чаще мы танцевали «шерочка с машерочкой».

В те годы появилась такая новая платьевая ткань, которая называлась кримплен. Платья из кримплена считались самыми модными, и люди перестали покупать ситцев. Тогда руководство стало проводить политику рекламирования достоинств ситца. Например, в университете устраивались так называемые ситцевые балы, на которых «авторы» лучших платьев из ситца отмечались призами. Я стала ходить на курсы кройки и шитья, чтобы научиться шить. И вот на очередной ситцевый я пришла в собственноручно сшитом по последней моде платье: рукава-кимоно, юбка – солнце-клёш. Подвела меня только обувь: на ногах были не легкие летние босоножки, а рантовые осенние чешские туфли, которые, разумеется, не соответствовали сезону и стилю платья. И все же я получила 2-ой приз.

Мне, как спецпереселенке, необходимо было раз в месяц ходить в спецкомендатуру «на подпись», т.е. свидетельствовать, что я нигде самовольно не уехала. Так продолжалось до 1956 года, потом спецкомендатуры были упразднены. За нарушение режима спецпоселения полагалось 20 лет лагерных работ. Много людей пострадали по этой статье, потому что им приходилось собирать оказавшихся во время депортации в разных местах членов своей семьи, ездить к родственникам на похороны или по другим важным причинам. Мой отец, например, отнюдь не храбрый человек, в первый год самовольно уехал из совхоза Дальверзин-2, в котором мы жили, в совхоз «Улус» Самаркандского района, к тётке Зюре, у которой хранился узелок с ценными вещами: маминим наследством – золотыми монетами, пришивавшимися к феске невесты, и марама (накидка, которой женщины прикрывали голову и плечи). Мы все заболели и умирали от истощения, а продавать было ничего, кроме этих монет. И папе удалось съездить туда. Но ему помог Случай: на железнодорожной станции Самарканда он встретил своего крымского друга – Волика, который ему помог. (См. фрагмент «Совхоз Дальверзин №2».)

Крымских татар в первые годы после депортации в вузах было очень мало – единицы. Как я уже написала выше, для выезда на учёбу нужно было получить разрешение республиканской спецкомендатуры в Ташкенте. Разрешения чаще не выдавались, отказ никак не комментировался. Моя старшая сестра, например, именно по этой причине не смогла поступить на учёбу в финансово-экономический техникум г. Ленинабада, который находился в 15 км от Беговата. Но даже в эти самые трудные годы активисты зарождавшегося крымскотатарского национального движения делали попытки как-то объединить нас, студентов: несколько раз самаркандских студентов собирали в городском парке и знакомили друг с другом, но никакие конкретные дела нам не поручались.

Считаю, что мне повезло с преподавателями. Общеязыковедческие курсы на историко-филологическом факультете, где я училась, вела доц. Аваллиани Юлия Юлиевна, выпускница восточного факультета Ленинградского государственного университета, впоследствии – руководитель моих дипломного и кандидатского сочинений. Всю зарубежную литературу, начиная с античной, увлеченно читал её муж, доц. Зунделович Я.О., один из первых советских исследователей творчества Достоевского, которое в те годы вообще не было включено в учебные программы. Курс теории литературы очень артистично вёл доц.

Шагинян Р.П. Думаю, именно этим преподавателям я обязана тем интересом к Слову, который впоследствии привёл меня в науку.

С благодарностью вспоминаю крымскотатарского поэта Абдуреима Шейх-заде (Алтанлы), который был старшим лаборантом кафедры русской и зарубежной литературы. При встрече он всегда тепло разговаривал со мной. Видя мое усердие, давал мне на ночь необходимую литературу из кафедральной библиотеки. И я никогда его не подводила: книги приносила вовремя.

Самой мучительной и самой унижительной стороной студенческого бытия была т.н. хлопковая кампания.

В первые годы моей учебы в университете нас увозили на сбор хлопка в грузовых машинах. Раскладушек в те годы еще не было в продаже, потому все спали обычно на полу. Хорошо, если нас размещали в здании школы: тогда полы могли быть деревянными. Позже уже разрешали брать с собой раскладушки, но они были не у всех. (И только в 70–80 годы, когда я уже сама работала в университете, студентов увозили на сбор хлопка в автобусах и разрешали всем брать раскладушки.)

На первом курсе нас увезли на сбор хлопка 9 сентября и держали там до 11 декабря. Хлопка на полях уже не было, но на кустах оставался т. н. курак – нераскрытые зеленые коробочки. Когда же падал снег, кусты отряхивались: два студента ходили между рядами и длинной веревкой наклоняли кусты. За ними шли остальные и срывали курак. А вечерами, после ужина, сидели в помещении, с трудом раскрывали эти коробочки и вытаскивали из них влажные незрелые волокна.

Еду нам готовили в общих котлах два раза в день – в обед и вечером. Утром мы пили чай с хлебом. Обедали, как правило, прямо на поле (брали с собой посуду); ужинали уже «дома». Воду для чая кипятили в больших титанах, туда же бросали заварку. Водопровода в кишлаках, особенно далёких, не было, воду для приготовления пищи набирали из арыков или прудов (по-узбекски – хауз). Бань тоже не было, но за городскими студентами иногда приезжали родственники и забирали их на ночь купаться. Привозили утром. Они всегда были обеспечены продуктами питания: им привозили консервы, варенье, печенье, соленье и пр. Плохо было тем, кто, как я, жил в общежитии. У нас обычно не было дополнительного питания, мы довольствовались только тем, что готовили повара: похлебка на обед и ужин, в праздничные дни (7-го ноября, например) варили плов. Мы, общежитейские, месяцами ходили немые. Особенно тяжело было в первые осенние месяцы, когда ещё стояла жара: мы все купались в пыли и обливались потом. Помню, как однажды за сокурсницей Соней Валиевой, жившей со мной в общежитии, приехали родственники, и она пригласила меня с собой. Жили они недалеко, в каком-то районном центре, в собственном доме. Там мы прежде всего искупались в домашней баньке, потом нас накормили и напоили чаем со сливовым вареньем. До сих пор помню вкус черного чая, который мы пили. Я даже поинтересовалась, как он называется, – чёрный китайский второго сорта. С тех пор я стала обращать внимание на сорт покупаемого чая.

Общественных туалетов в кишлаках, как правило, не было. Нужду справлять мы ходили за пригорки и кусты. Ну а на поле, естественно, мы просто уходили подальше от сборщиков и приседали. Это так и называлось: ходить во кусты или – наш камерный жаргонизм – ходить в область.

Кто видел хлопковую коробочку, тот знает, что когда хлопок созревает и она раскрывается, то концы её 4–5 долек высыхают и становятся колочими. Наши руки до локтей, а ноги до колен были исцарапаны, и эти царапины держались еще долго, несколько месяцев; обычно они исчезали только после Нового года. Мы все загорали на полях до черноты.

Была обязательная норма сбора хлопка, помню – 60–70 кг. Это очень тяжело: ходить под солнцем, согнувшись над кустами, и нести на животе полный фартук. Если кто-то не мог выполнить норму, его держали на поле до самой темноты. Но своим сокурсникам мы обычно помогали – «сбрасывались», записывали на их имя по несколько килограммов. Многие из тех, кто не умел быстро собирать, оставались должны за еду. Деньги удержива-

лись из их стипендии после возвращения. В некоторых случаях таких студентов вообще отчисляли из университета.

Колхоз должен был оплачивать наш труд. За килограмм хлопка-сырца платили копейки. Часть этих денег удерживали за питание. Но очень часто учёткини, стоявшие за весами (обычно помощники бригадиров) нагло обвешивали нас, пользуясь фальшивыми весами. Более того, они продавали нам хлопок, т. е. приписывали, за определённую сумму, столько килограммов, сколько кому-то не хватало до нормы. Вообще приписки были очень распространены. Позже, уже в годы перестройки, выяснилось, что из тех собранных миллионов тонн хлопка (в конце 80-х годов, если я не ошибаюсь, Узбекистан заготавливал до 7 млн. тонн сырца.) половина оказалась припиской.

Всё пять лет я училась на отлично – получила диплом с отличием. Меня заметили и решили оставить для работы на нашей кафедре. Но случилось то, что должно было случиться: вышестоящее начальство посчитало, что крымской татарке нет места на кафедре гуманитарного профиля. И меня направили в распоряжение облоно. Я срочно вызвала на помощь отца. Он приехал, и мы пошли в облоно.

Нас приняла инспектор – приветливая женщина средних лет. Отец объяснил ситуацию и положил перед ней на стол ценившийся тогда набор «Кремль»: духи и одеколон во флаконах, отлитых в форме кремлёвских башен. Она молча спрятала коробку в стол и выдала мне разрешение на свободное распределение.

Так закончился первый этап моей жизни в Самарканде.

ОПЯТЬ ДАЛЬВЕРЗИН № 2

В Беговате работу по специальности мне найти не удалось. Поехала опять в совхоз Дальверзин № 2 и устроилась преподавателем русского языка и литературы в той школе, во дворе которой летом 1944 году мы жили несколько месяцев под деревьями. Там жила моя старшая тётя Урие, семью которой в своё время мы вызволили с лесоповала на Урале, послав им вызов: это практиковалось в первые годы после депортации для воссоединения родственных связей. (Таким же образом в те первые годы «вызвали» из Самаркандского района семью тётки Зюре.) И вот тётя Урие, дочь которой, Дилира, к этому времени скончалась, выделила мне одну комнатку в своей квартире.

Как прошёл этот год – первый год моей работы в качестве преподавателя русского языка и литературы? У меня была большая учебная нагрузка: два девятых, один десятый русские классы и один узбекский восьмой класс. В русских классах (кроме русских, было много корейцев и крымских татар) я вполне справлялась с работой, а вот с узбекским классом сразу возникли проблемы. Дело в том, что в классе были одни мальчики, среди них – много переростков, лет семнадцать и старше. А я казалась им девчонкой, с которой можно не считаться. Я пыталась наладить дисциплину, но мне это не всегда удавалось. Так я промучилась с ними около месяца, и вдруг, как говорится, в один прекрасный день, всё изменилось: мальчики сидели на уроках как шёлковые, все старались угождать мне. Позже выяснилось, что двое из самых великовозрастных учеников, которым я нравилась как девушка, решили опекать меня привычными им способами: они просто избивали тех, кто мешал мне вести уроки или не хотел выполнять домашнее задание. Конечно, я понимала, что это непедагогично, но не показывала виду, что знаю об их «помощи».

Здесь я впервые столкнулась с формальным отношением к делу, которое чуть не отравило меня от школы. Во время зимних и весенних каникул, когда дети отдыхали, учителя по приказу директора школы обязаны были приходить в школу в 8 часов утра, учиться в журнале посещаемости и, уходя в 4 часа дня, делать то же самое. Нам нечем было заняться, но мы сидели и просто убивали время: разговаривали, писали письма, вышивали и т.п.

Во время этих «посиделок» со мной случился казус: я облила чернилами всю правую полу моего новенького китайского габардинового плаща. В те годы мы пользовались в школе чернильными-непротиривайками, для которых матери учеников шили или вязали специальные мешочки. Когда у кого-то из детей кончались чернила, учителям приходилось доливать их в чернильницы. Для этих целей в учительской всегда имелись бутылки с запасными чернилами. И вот я как-то открыла дверцу шкафа, оттуда с верхней полки прямо на мою грудь вывалилась открытая бутылка с чернилами. И мой только что купленный китайский плащ бежевого цвета, с капюшоном и клетчатой подкладкой, – писк тогдашней моды – был полностью испорчен. Конечно, я пыталась как-то вывести эти пятна, но безрезультатно.

Как только закончился учебный год, я без сожаления уехала из совхоза: устроилась работать в молодом городе Янги-Ер, в Голодной степи, недалеко от знакомой мне узловой железнодорожной станции Урсатьевская.

ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ

В 60–70-е годы в Советском Союзе проводилась кампания освоения целинных и залежных земель, расположенных преимущественно в Казахстане. Средства массовой информации рисовали прекрасные перспективы: хорошие заработки, отдельное жильё, почёт и слава. О целинниках слагались песни, создавались кинофильмы, например, известная серия про Ивана Бровкина. Их труд всячески героизировался. Многие ехали добровольно, но молодых, особенно студентов, чаще всего вынуждали, взывая к их комсомольской совести.

В Узбекистане тоже нашли свою целину – нетронутые солончаки Голодной степи, на которых росла только верблюжья колючка. В середине 50-х годов там заложили новый город – Янги-Ер (буквально – новая земля).

Первое время я работала в городской газете корректором: приходилось ездить в соседний городок, кажется, Мирзачуль, где находилась типография, и работать всю ночь. Это была очень изнурительная работа. Учебный год уже начался, когда мне вдруг предложили работу в школе, и я с радостью согласилась.

Сначала я жила в коммунальной квартире, потом выхлопотала отдельную двухкомнатную квартиру со всеми, как говорят, удобствами: вода, газ, туалет, душ. Конечно, я была счастлива: это было первое, после депортации, нормальное человеческое жильё.

Я вела занятия по русскому языку и литературе в старших классах – двух десятых, одном девятом и одном восьмом. Как говорится, была на хорошем счету у руководства и пользовалась авторитетом среди школьников. Работа мне нравилась. Там я начала коллекционировать разные нелепые фразы, которые встречались в сочинениях моих учеников. Запомнились такие: *«Один в поле не вой»* (эпиграф к сочинению по «Слову о полку Игореве»); *«Наташа Ростова была любовницей всей семьи»*; *«Мать Турсенева была жестокой дворянкой, но, когда вышла замуж, стала злой купчихой»* и др. А вот эти комичные ошибки я выловила из речи нашей учительницы географии, узбечки: *Хоть кол на голове теши* (вместо – *тешиш*); *Милые бранятся – только теишутся* (вместо – *теишатся*). Она не шутила, просто не догадывалась, что это неверно.

В Янги-Ере я впервые увидела живую саранчу, о существовании которой знала только по шутиловому рапорту А.С. Пушкина генерал-губернатору Воронцову М.С.: *«Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела – всё съела и вновь улетела.»* Болотно-зелёное колыхающееся месиво облепило восточные стены домов и разлилось по улицам нашего городка. Как с нею боролись, не помню. Несколько дней спустя она так же неожиданно, как и появилась, исчезла – «всё съела и вновь улетела».

Через четыре года меня послали на месяц в Ташкент, на курсы усовершенствования учителей. Нам читали какие-то лекции. Но запомнился только один эпизод: как мы писали зачётный диктант по русскому языку. Зная, что у меня хорошие знания, коллеги стали

заранее занимать места рядом со мной: справа, слева, спереди и сзади – я была в окружении жаждущих подсказки. Это было и смешно, и грустно. Результаты диктанта были удручающие: одна «пятерка» – у меня, четыре «тройки» и одиннадцать «двоек». Справедливости ради надо сказать, что текст диктанта был насыщен трудными орфограммами и пунктограммами, что было нарушением методики проведения таких контрольных работ, которая предполагает определенное соотношение между количеством трудных случаев и объемом текста в целом.

Так прошло шесть лет. Я поняла, что здесь я уже достигла предела своих возможностей, что работа становится рутинной. Мне хотелось заниматься более значимым делом. Всё чаще и чаще я стала вспоминать свой университет и в конце концов решила круто изменить свою жизнь – поступить в аспирантуру. Написала письмо доц. Авалиани Юлии Юлиевне, которая в свое время руководила моей дипломной работой, и она пригласила меня в аспирантуру.

Когда я собрала необходимые документы и приехала в Самарканд (1964 г.), выяснилось, что моя бывшая сокурсница, та самая Светлана, с которой я жила в одной комнате студенческого общежития и которая ещё на третьем курсе вышла замуж за нашего преподавателя, заведующего кафедрой научного коммунизма, тоже подала заявление в аспирантуру и уже успела сдать все вступительные экзамены на «отлично». Но тут вмешалась Юлия Юлиевна и выхлопотала в ректорате ещё одно место в аспирантуру – специально для меня.

ОПЯТЬ САМАРКАНД

Так начался второй период моей жизни в Самарканде, который длился до декабря 1990 г. Целых двадцать пять лет. Семья. Зрелость. Самый важный, самый ответственный период жизни, когда человек реализует все свои возможности – физические, психические, в том числе творческие.

После окончания аспирантуры один год я проработала на кафедре русского языка Самаркандского государственного педагогического института имени Садриддина Айни, потом была приглашена на «свою» кафедру, на которой меня оставляли работать после окончания университета, – кафедру русского и общего языкознания Самаркандского государственного университета имени Алишера Навои, где я проработала последовательно в должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента и профессора.

Как прошли эти годы? Чем они запомнились?

В пединституте, куда меня пригласили работать после окончания аспирантуры в 1968 году на должность старшего преподавателя, мне сразу же предложили читать самую трудную теоретическую дисциплину – общее языкознание. Курс этот для меня был абсолютно новым, потому что его не было в программе в годы моей учёбы в университете. Конечно, я тщательно готовилась к лекциям, но всё же волновалась. И вот однажды случился казус: во время лекции кто-то открыл дверь аудитории, и ветер мгновенно снёс с кафедры все мои листы с записями. Но я с честью вышла из этой затруднительной ситуации – довела лекцию до конца. Этот случай укрепил мой дух, я поняла, что могу и смогу многое, потому что имею хорошие базовые знания. И, по-видимому, какие-то необходимые для этой сферы деятельности психофизические качества.

В конце 1968 года я закончила работу над кандидатской диссертацией, но заведующий кафедрой задержал мою защиту на год, пока не завершила свою работу его аспирантка. Оказывается, для него это было делом престижа: он не мог допустить, чтобы первая работа по русской фразеологии в Самарканде была защищена не его ученицей. Поэтому обе наши защиты состоялись в один день. Это был 1969 год.

Утверждения кандидатской степени в ВАК СССР мне пришлось ждать еще два с половиной года. Тут тоже вмешался «человеческий фактор», о чём я узнала много лет спустя: аспирант кого-то из московских друзей нашего завкафедрой писал кандидатскую дис-

сертацию на аналогичную тему. И пока он не закончил своей работы и не защитил её, мою диссертацию специально «держали» в ВАКе.

Начиная с 1976 г. я стала выезжать в разные города Советского Союза на научные конференции. Чаще всего это была Москва, но ездила и в Ленинград, Баку, Горький, Тулу, Орёл, Уфу, Ташкент и др.

Первая поездка в Москву состоялась в 1976 году. Я была приглашена на конференцию, организованную Институтом русского языка им. В.В. Виноградова. Спустя полгода после поездки (9 июля 1976 г.) я оформила свои впечатления в форме рассказа (это была проба пера), назвала его «Случайное знакомство», но до сих пор не опубликовала.

ДЕФИЦИТ КАК ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО БЫТИЯ

Как уже написано выше, родилась я в Ялте до войны, во время первой фазы коммунизма. Мне было три года, когда социализм, по словам Сталина, оказывается, был построен в одной, отдельно взятой, стране. Но я плохо помню то благословенное время, разве только некоторые факты и события. Например, на нашем столе часто бывало такое лакомство, как сгущенное молоко, да и сухое молоко было отнюдь не хуже на вкус. У нас было целых два патефона (а это в те годы было признаком достатка) – один синего, другой красного цвета, и куча всяких пластинок с модными песнями и мелодиями тех лет: «На закате ходит парень возле дома моего», «Любимый город может спать спокойно», «Дайте в руки мне гармонию», «Рио-Рита» и др.

Потом была война, немецкая оккупация, в апреле 1944 освобождение Крыма Советской Армией и... тотальная депортация крымских татар. Неожиданно мы очутились в Узбекистане. И как раз там я захватила те периоды, которые в советской историографии назывались периодами восстановления разрушенного войной народного хозяйства, а позже – зрелым социализмом, развитым социализмом, завершающим этапом строительства социализма, «социализмом с человеческим лицом» и т. п.

Как же жили мы, «простой советский народ»? Я не собираюсь писать здесь о внутри- и внешнеполитических событиях тех лет (это дело историков) – только о повседневной, будничной жизни простых людей.

Старшее поколение людей, живших в завершающий период строительства социализма, помнит, конечно, репризу Аркадия Райкина про дефицит – *«дыфисыт»*, как произносил его персонаж. Мы все горько смеялись, слушая его, потому что сами бежали по магазинам в поисках необходимой вещи, часами стояли в длинных очередях с записанными на ладонях номерами. В дефиците было всё: продукты питания, одежда, обувь, мебель, автомашины, ювелирные украшения и т. п. Даже туалетная бумага! Позорной примасой советского дефицита были длинные гирлянды из рулонов туалетной бумаги, висевшие на шеях прохожих. *«Всё это было бы смешно, / Когда бы не было так грустно»* (М. Лермонтов).

Узбекистан – благодатный край, скажете вы. Неужели там не было всего этого? Да, Узбекистан – благодатный край, так сказать, «Ташкент – город хлебный». И Самарканд, где я жила, тоже был «хлебным» городом: всё можно было достать с помощью знакомых, с переплатой или по принципу: «ты мне – я тебе». А что я, преподаватель вуза, могла предложить взамен на всякий дефицит? Ну, например, помочь на вступительных экзаменах, т. е. «протащить» абитуриента через все экзамены, обеспечить ему проходной балл. В ответ на такую «любезность» можно было получить бессрочный кредит на покупку дефицитных вещей без наценки, т. е. по государственной цене. Был и другой способ оплаты подобных услуг преподавателя – банальная взятка на довольно большую сумму, которая зависела от престижности вуза и факультета, а также количества экзаменов, которые мог «подстраховать» преподаватель. А уж если он обеспечивал проходной балл, то это оплачивалось по максимальной ставке. Недаром некоторые преподаватели, особенно председатели предмет-

ных комиссий, после вступительных экзаменов сразу же приобретали легковые машины и даже квартиры.

Я из принципиальных соображений не занималась подобного рода «деятельностью». Пользовалась только одним способом: предлагала продавцу требуемую им сумму сверх государственной цены вещи. Например, в 1979 г. в каком-то сельском магазине я приобрела за 110 руб. модные импортные сапоги, которые стоили 85 руб. Несколько раз таким образом покупала туфли в обувном магазине на ул. Ленина в Самарканде. Я подходила к улыбающейся продавщице, спрашивала, нет ли чего-нибудь хорошего. Она приносила из подсобки обувь и, если мне всё подходило, называла сумму. Первый раз я пыталась добавить ещё сколько-то рублей, но она решительно отказалась, объяснив, что «добавка» уже включена в стоимость обуви. Так сохранялась видимость приличия, честности и дружеского расположения.

Как только у меня появилась возможность выезжать в Москву (на научные конференции, для работы в Государственной публичной библиотеке им. Ленина и т. п.), я стала заранее копить деньги. Я знала, что в Москве можно всё приобрести по государственной цене, правда, придется побегать по магазинам и не один час стоять в очередях.

Вот несколько конкретных примеров.

В те годы все ездившие в Москву возвращались оттуда нагруженные продуктами питания: сыр, сливочное масло, колбаса всякого вида и сорта, растворимые сахар и кофе, замороженные тушки болгарских и венгерских кур и индеек, хорошие конфеты, зефир, пастила, торты, даже хлеб, особенно бородинский и рижский. Социологи того времени зафиксировали такой феномен, как «колбасные поезда»: жители Подмосковья и ближайших городов (Тула, Орел и др.) в выходные дни специально ездили за продуктами в Москву.

Первый раз я вылетела в Москву в 1976 г. вместе с заведующим кафедрой на всесоюзную конференцию по лексикографии. Текст доклада был написан мной. Шеф не добавил ни строчки, но выступал, конечно, он. После заседания он попросил меня пройтись с ним по магазинам: жена заказала привезти что-нибудь из еды. И мы пошли по магазинам Калининского проспекта. Нормального, жёлтого, сыра мы не нашли, и потому шеф накопил около 50 плавленых сырков и победно шёл с огромной авоськой-сеткой, сквозь ячейки которой «выглядывали» разной формы сырки. Со стороны это выглядело довольно смешно.

В один из приездов в Москву я сняла комнату в доме на ул. Герцена, недалеко от магазина «Рыба». Перед возвращением, как всегда, несколько дней бегала по продуктовым магазинам. Подошла к этому магазину во время обеденного перерыва. Пока ожидали открытия магазина, собралась толпа человек в 50–70. И вот когда открыли двустворчатую дверь с вертикальной перекладиной посередине, все ринулась внутрь. Я в те годы постоянно ходила в очках. Меня так сильно прижали головой к этой перекладине, что чуть не продавили стёкла очков в глаза. Я кричала, но никто не обратил на меня внимания. До сих пор не могу забыть звериного напора толпы и того страха, что я тогда испытала.

Сыр и сливочное масло во всех магазинах продавали только кусочком в 200–300 граммов. Два веса в одной руке не давали. И чтобы купить хотя бы полкилограмма, приходилось хитрить, например, подходя вторично к кассе, снимать шапку, чтобы кассир не опознала, или становиться в очередь в другую кассу. В лучшем случае при этом терялось время, в худшем – кассиры могли оскорбить, вызывая к твоей совести. Помню магазин «Сыр» на углу Университетского и Ленинского проспектов, где я сновала несколько раз между прилавком и кассами.

В поисках дефицита жители и гости столицы ездили в известные магазины: ГУМ, ЦУМ, «Белград» и «Варшава» на Юго-Западе. Однажды я попала в магазин «Белград», когда там «выбросили» меховые шапки. Тут же собралась толпа, появились милиционеры, наблюдавшие за порядком. Выяснилось, что шапки продавали только москвичам, показывавшим милиционерам паспорта с московской пропиской. Когда моя очередь подошла, я с мольбой обратилась к молодёжному милиционеру: *Пожалуйста, пропустите меня, я приехала из Самарканда.* И показала своё удостоверение. Он посмотрел в мои умоляющие глаза и пропустил меня к прилавку. Там я купила шапку из голубой норки за 340 руб. (моя

зарплата тогда составляла 320 руб.) Было это не менее 20 лет назад, шапка до сих пор «жива», только чуть потрачена молью: здесь, в Крыму, я её надеваю не каждую зиму.

Привозила из Москвы даже торты. Особенно ценилось тогда «Птичье молоко», но его не везде можно было найти. Я обычно ходила в магазин полуфабрикатов ресторана «Прага», на углу Арбата, выстаивала очередь и, если везло, покупала сразу два небольших торта «Прага» по 3,05 руб. каждый. Они привлекали меня не только хорошим вкусом, но и тем, что сверху были покрыты шоколадной глазурью без всяких кремовых цветов и листьев, и потому их удобно было устанавливать друг на друга в одну коробку, которую я не выпускала из рук до самого дома.

Сколько себя помню, везде приходилось часами стоять в очередях, занимать одновременно несколько очередей, записывать свой номер на кисти руки, потом доказывать окружающим, что ты здесь стоял, но отлучился на минуту. Отсюда и крылатое – опять же из репризы Райкина – выражение: *Вас здесь не стояло.*

Дефицит был постоянным спутником жизни простого советского человека начиная с 1917 года.

А рядом, параллельно, но не пересекаясь с простым советским народом, жила партийная номенклатура, особый, уникальный, слой (класс) советского общества. Они никогда не стояли в очередях, потому что отоваривались в специальных магазинах-распределителях, где они приобретали товары повседневного спроса по льготным, «государственным», ценам. Они и члены их семей ежегодно ездили на лучшие курорты страны. Их пользовали лучшие врачи в специальных, т. н. обкомовских и цеховских, поликлиниках и больницах. Они никогда не ездили в переполненном и загаженном общественном транспорте. Они получали иную – более высокую – зарплату и пенсию. Они смотрели на работников физического и умственного труда сверху вниз, как на быдло.

Так было еще совсем недавно, лет двадцать назад. Но тогда мы были моложе, здоровее и красивее: *«Когда мы были молодыми / И чувшь прекрасную несли, / Фонтаны были голубые, / И розы красные цвели...»* (Юнна Мориц). И потому то время некоторым из нас сейчас представляется более привлекательным, чем было на самом деле. Это психологическая универсалия – ностальгия по прошлому, по молодости. Мы забыли, точнее, не хотим вспоминать, как мы опасались открыто высказывать свое мнение, особенно критического характера. Многие из нас беззастенчиво лгали, восхваляя советский строй, коммунистическую партию – «ум, совесть и честь нашей эпохи», благодаря её за всё: «за наше счастлирое детство», за очередное снижение цен после войны, за отмену карточной системы и платы за школьное обучение в старших классах; за то, что Гагарин полетел в космос и т. п. В общем: «Прошла зима, настало лето – спасибо партии за это».

Другие молчали и принимали участие во всех идеологических мероприятиях: бодро и весело, с мажорными песнями, шагали в рядах демонстрантов; в обязательном порядке поздравляли друг друга с очередной годовщиной Великого Октября (заранее составляли списки адресатов – не дай Бог кого-то забыть!); на общих собраниях голосовали за то, чтобы поблагодарить участников очередного пленума КПСС за принятые ими решения; подписывали всякие открытые письма, требуя суда над «отщепенцами» и «гуняядцами» И. Бродским, А. Синявским и Ю. Даниэлем, А. Сахаровым, М. Джемилевым и др., заточения в психушку П. Григоренко, лишения А. Солженицына советского гражданства и др. на очередные выборы приходили все здоровые и сознательные граждане выборного возраста – 99,99% избирателей!

Самая великая ценность в мире – свободная человеческая Душа. Мы её топтали сами и позволяли топтать другим. Создатель дает человеку жизнь один раз. И эту единственную жизнь надо прожить в согласии со своей Душой и в мире с окружающими. Потому что в мир иной человек уходит нагим и сирым, держа в руках только Душу свою, которую он сложит к ногам Творца.

«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екклесиаст, 12, 7).

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН В МОЕЙ ЖИЗНИ

Летом 1975 года в мои руки попал роман С.П. Залыгина «Южноамериканский вариант». До того дня я ничего не слышала об этом писателе. Главная героиня, Ирина Викторовна Мансурова, женщина как раз моего возраста (как она говорит, 45 – n), озабоченная проблемой своей женской состоятельности: она считает, что как женщина пока не состоялась, так как не испытала страстной любви.

Мне в то время было примерно столько же лет, и я тоже мучилась теми же вопросами. Всё удивительно совпало с моим тогдашним мироощущением. Меня поразило умение мужчины так точно описывать тончайшие движения женской души. Такое умение прежде я замечала у Мопассана, Флобера, Чехова («Несчастье»). Подспудно во мне зрело желание написать этому мужчине письмо, поделиться мнением о прочитанном. Я догадывалась, что писателю – любому – это будет если не приятно, то интересно.

Узнать адрес писателя оказалось совсем нетрудно: я написала письмо в Союз писателей СССР, и 23 сентября мне пришёл ответ:

Уважаемая тов. Эмирова А.М.! Выполняя Вашу просьбу, сообщаем адрес писателя Залыгина Сергея Павловича: Москва В-71, Ленинский пр-т, 28, кв. 3.

Литсекретарь отдела творческих кадров СП СССР Егорова З.Н.

Не помню, когда я написала и отправила письмо по этому адресу (к сожалению, оно не сохранилось), но 2 декабря 1975 пришел ответ:

Уважаемая Адиля Мемедовна!

Спасибо за Ваше письмо – умное и душевное! На все Ваши вопросы я ответить не смогу, – не знаю, как это получается, что ты влезает в кожу своих героев.

Прочтите, если Вам встретится, мою повесть «На Иртыше» (лучше всего – в двухтомнике «Избранного», 1973 – 1974 гг. И там же, пожалуйста, эссе «Мой поэт» (том 1). Мне кажется, в этих вещах автор в наибольшей степени оживает в своих героях.

Вообще, замысел совсем необъяснимая вещь – почему достается тебе вот этот именно, а не тот герой; это, а не то событие – никогда ведь не знаешь. Ну, а отсюда и всё остальное, что необъяснимо тоже.

Может быть, очно я и смог бы объяснить что-то большее, хотя опять не могу это утверждать.

Мой телефон в Москве 232-43-85, но нынешней зимой я редко буду в городе, и, вернее всего, мне нужно звонить по 443-18-08 или 443-18-95 утром и вечером (это общие телефоны, днём почти всегда заняты), а затем попросить дежурную, чтобы она передала мне, куда и в какое время должен позвонить я.

А пока желаю Вам и Вашей семье всего-всего доброго и снова благодарю Вас за Ваше такое чуткое и тонкое послание!

Ваш С. Залыгин. 2.12.75.

И вот моё второе письмо от 10 декабря 1975:

Дорогой Сергей Павлович!

Воодушевленная Вашим добрым отношением ко мне, я тотчас же побежала в библиотеку и взяла «Избранное» в двух томах и «Интервью у самого себя». Начала, конечно, с последнего.

Я счастлива, что познакомилась с Вами. Я радуюсь, что наши интересы в чём-то, хоть малом, пересекаются – Чехов, Сент-Экзюпери... Наверно, Паустовский, Бунин? Если Рокуэлл Кент, то, наверно, и Рерих? И еще в чём-то, не совсем чётко мной уловленном; может, в особом притии всего **этого**, когда **это** делается твоим содержанием, когда в **этом** видишь истинный смысл, нет, – ценность (тоже неточное слово) своей жизни и через **это**

приобщаешься к чему-то большому, объединяющему людей? (Перечитала – всё не те слова.)

К Чехову отношусь с какой-то сердечной болью; вспоминается его последнее Ich sterbe. Три года назад в Аутке я зашла в беззвучном плаче, увидев посаженный им атласский кедр и рядом кипарис, который посадила Мария Павловна в год его кончины, – живые символы его жизни и смерти. Пронзительная рядоположность!

Я прекрасно понимаю широту Ваших интересов, их глобальность и социальную значимость. Мои же интересы камерные, чисто женские. Хотя – нет, всё же есть тот минимум общих интересов! И это меня радует!

И знаете, я только что отметила такой парадокс: я ведь никому не говорю об этом, я переживаю это сама. Даже самые близкие не догадываются, чем я живу, потому что об этом как-то не говорится. Об этом можно только писать, и то – для себя. А ведь всё это я считаю своим истинным богатством, но скрываю это, как скупец (*скупчиха*?!).

Я не удовлетворена Вашим ответом на мой вопрос. Мне кажется, здесь Вы сознательно напустили туману, мистики даже. Я знаю, что по логике характера герои иногда «выкидывают» всякие штучки, как, например, пушкинская Татьяна, которая «взяла и вышла замуж». Но ведь в конечном счёте писатель всегда автобиографичен. И Вы не можете не знать, почему Вы так «влезли в кожу» Ирины. Согласна: в повести «На Иртыше» Вы действительно вжились в своих героев, Вы там «внутри». А вот в эссе «Мой поэт» я этого не вижу; по-моему, здесь Вы не «внутри», а «около». (Ради бога, не сердитесь на меня, я же не критик – я **Ваш** читатель!) Чехова Вы знаете так, как, может, он сам себя не знал. (Ведь есть же такие стороны личности, которые эта личность сама не осознаёт, а только смутно ощущает.) В Вашем «прочтении» Чехова много, мне кажется, личностного, Вашего, но именно благодаря Вам я увидела его в других ракурсах. Благодарю Вас!

Будьте снисходительны ко мне! Эта моя беседа с Вами на равных нужна мне, evidentemente, для самоутверждения как личности (поверьте, я в этом очень нуждаюсь сейчас). Кроме того, насколько я знаю, читать читательские письма – непременная голгофа писателей известных.

Я отношусь к категории нелюбозных Вашему сердцу языковедов – работаю на кафедре русского и общего языкознания Самаркандского государственного университета. И мне, увы! приходится «то и дело поражать (неязыковедов) тяжестью и некрасивостью всего того, что я пишу о красивом языке»: такова специфика научного стиля.

Числа 20-го января собираюсь в Москву на конференцию по учебным словарям, которая состоится в Институте русского языка им. А.С.Пушкина 23 – 30 января 1976 г. С Вашего разрешения (а его Вы мне дали, сообщив номера Ваших телефонов), я Вам позвоню: к тайне «перевоплощения» мужчины в женщину, которая для меня «велика есть», я всё ещё не потеряла интереса.

С глубоким уважением и благодарностью – читающая и почитающая Вас Адиле Эмирова.

В ответ – две открытки:

Дорогая Адиле Мемедовна! Поздравляю Вас с Новым годом, желаю, чтобы он был для Вас счастливым. И не только – он.

Я числа до 22.1.76 буду в Вильнюсе, а когда вернусь, может быть, Вы позвоните мне или оставите свой телефон до востребования, по К-9 (Центр. телеграф на ул. Горького).

Вам, как переводчице «Варианта», конечно же, надо выяснить какие-то вопросы.

Ещё раз – всего доброго! Ваш С. Залыгин. 23.12.75.

Дорогая Адиле Мемедовна! Прочтите ещё такие книги: «Литературные заботы», изд-во «Современник», №№ 9, 10, 11 за 1975 год. Вот тогда и перевод у Вас пойдёт хорошо!

Всего доброго! Ещё раз – с Новым Годом! Еду в Вильнюс. 25.12.1975.

Так неожиданно я стала *переводчицей*.

Числа 22 января я уже была в Москве, на конференции. Первая встреча с Залыгиным С.П. состоялась 27 января 1976 г: он пригласил меня на вечер, посвященный 150-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина, который должен был состояться в Большом театре Союза СССР. Встречу он назначил у крайней левой колонны. Я его сразу увидела, потому что уже знала по фотографиям в книгах. Подошла и сказала:

– Добрый вечер! Это я.

Прошли в зал. Оказалось, он должен сидеть в президиуме, и потому его место рядом со мной, в пятом ряду партера, пустовало весь вечер.

Вечером 30-го января мы были в ЦДЛ (Центральный дом литераторов на ул. Герцена), на литературно-художественном вечере, посвященном творчеству В. Шукшина. Сергей Павлович председательствовал.

По возвращении домой я стала писать ему письма в жанре неотосланных: просто писала, не зная, попадут ли они когда-нибудь в его руки. Мне надо было как-то заполнять пустоту своей личной жизни; это был способ моего существования, помогавший мне тогда оставаться в здравом уме.

Ниже приведены лишь те фрагменты из моих писем и дневниковых записей, в которых отразились мои впечатления о прочитанном. Письма же Сергея Павловича приведены полностью, без купюр.

Самарканд, 10.02.76. ...Встреча с Вами осветила и освятила все эти дни моего пребывания в Москве. Я бесконечно благодарна Вам за доброе отношение ко мне. Я положила Вас, как печать, на сердце своё...

Самарканд, 14.02.76. ...Перечитываю ЮАВ (роман «Южноамериканский вариант») и почти всё время ловлю себя на мысли: это обо мне, у меня тоже так. Например, я тоже всегда готовилась быть женщиной и всегда боялась, что женщины во мне мало. И это началось не со школы, как у Ирины (героини романа), а ещё с детского сада: до сих пор помню эпизоды, характеризовавшие меня со стороны «женской недостаточности» в этом возрасте.

Я тоже успевала не только читать, но ещё и пережить прочитанное и мечтала, что когда-нибудь всё своё богатство смогу «прокинуть на чью-либо голову. Не на чужую, разумеется, а на любимую». И мне приснился вещий, как мне подумалось, сон, и наутро я тоже подивилась: Какой эпизод! Короткий, но яркий. Ну совершенно как наяву! (К сожалению, этот сон никак не «материализовался».) И я неоднократно заглядывала в ту несостоявшуюся бабью жизнь, но не в курной избе, а согласно моему происхождению – в татарской сакле. Однако, признаюсь, я чувствовала себя там очень неудобно. Я могла бы привести ещё много примеров, подтверждающих мое сходство с Ириной. Но самое главное – я тоже что-то умею делать собственными руками!

Что такое Ваша Ирина? Неужели это тип современной женщины? Мне до сих пор непонятно, как Вам это дано – постигать женскую психологию? А может, не существует резкой грани между женской и мужской психологией, а есть только общечеловеческая? Разумеется, все эти вопросы меня интересуют не из любви к психологии и философии – как-то пытаюсь «примерить» их к себе. (Известно, что в каждом человеке есть оба начала, мужское и женское (половые гормоны?), но их пропорции в каждой особи различны, отсюда и такое разнообразие психо-физиологических типов, маргинальными проявлениями которых является гомосексуализм – мужской и женский, т. н. лесбийская любовь.) Во всяком случае, я знаю: никакое движение моей души для Вас не будет тайной. И мне грустно от этой мысли: я не представляю для Вас интереса, я разгадана Вами давно – ещё до нашей встречи...

Самарканд, 23.02.76. ...В тот вечер, когда мы собирались пойти поужинать, Вы посмотрели на меня со стороны и сказали: «Вот ведь, приехала откуда-то и вошла вот сюда... (жест – к сердцу)».

Я оценила эти слова только сейчас: пожалуй, это самые тёплые слова, сказанные Вами мне. Да, я действительно приехала откуда-то из небытия – меня создало Ваше Слово. Иногда ловлю себя на ревнивой мысли: а что если Ваше слово ещё в ком-то отозвалось так же, как и во мне? Но успокаиваю себя: не может судьба создать двух одинаковых характеров и одинаковых ситуаций.

Читаю и перечитываю Ваши вещи, радуюсь великолепным находкам (словесным, образным), поражаюсь величию Вашего воображения, обширному объёму знаний, и всё это возвышает Вас в моих глазах, отдаляет от меня.

Моё чувство к Вам, как и любовь, в какой-то степени выдуманно (заметьте, я не называю его любовью), но кто скажет, где граница его выдуманности? Лыщу себя мыслью, что оно тоже «не ширпотребовская пластмассовая конструкция» (хотя, конечно, и не замок из слоновой кости), но всё же – *ручная, индивидуальная работа!*

Все эти письма, по-видимому, я отослала ему почтой, потому что в начале марта получила такое ответное письмо:

Дорогая Адиле Мемедовна! Пишу с почты. Получил Ваши Главы. Большое-большое спасибо! Всё так и есть, перевод точный, даже дух захватывает – толкование! Всё-всё так!

А я даже представляю Вам Самарканд и Вас в нём, не мешает, что не был никогда. Вот как выйдет последняя книга – пошлю обязательно. Я замотался страшно, работаю мало, на себя сердит, погода скверная, но всё – не беда. Ещё потрудимся! Так думаю!

Поздравляю с Женским праздником, всё-таки в нём есть какой-то смысл?!

Ваш С. Залыгин. 3.03.1976.

Самарканд, 12.03.76Получила Ваше письмо от 3 марта. Ах, этот эзоповский язык! Сиди и гадай, а что там в подтексте, а что это значит: «перевод точный, даже дух захватывает», – в то время как сердце жаждет доброго, ласкового слова! И всё же – я рада Вашему письму, хоть и печальной радостью: некоторые фразы донесли до меня Ваши интонации, я услышала Ваш голос, я вспомнила, как Вы это произносите. ..Я увидела Вас в этом большом зале Центрального телеграфа на ул. Горького – с моим письмом в руках: Вы сели и стали пробегать глазами по строчкам, где-то улыбнулись, где-то вскинули брови...

Ответ С.П. от 31.03.76. *Я-то считал, что «Вариант» – дар божий. Если и грустный, так всё равно – больше радостный и счастливый. Но Вы повергли меня в замешательство. И вот я уже не могу утверждать, что прав.*

Действительно, должно быть, нужно время-судья. Как говорится, дайте срок. И себе возьмите его и мне дайте.

Я только что встал, болел гриппом и тут же лечу в Италию, с докладом о Гоголе. Никогда я ещё с такой неохотой не снимался с места – трудная весна. Ваш С. Залыгин.

Продолжение моих неотосланных писем.

20.03.76... Человеку свойственно экстраполировать свои мысли, свои эмоции на другого, с кем он как-то связан, особенно же, если – сердечными узами. Потому мне кажется, что Вы относитесь ко мне так же, как я к Вам, – бескорыстно, с открытым сердцем, с каким-то родственным чувством, которое я затрудняюсь назвать. Оно как-то ассоциируется у меня с паролем-ключем Маугли: «Мы с тобой одной крови!» – или, по Лонгфелло: «Узнала тебя душа моя!»....

24.03.76... Я всё ещё продолжаю открывать Вас для себя и подозреваю, что процесс этот может быть долгим и неисчерпаемым. Сегодня я открыла для себя два новых рассказа – «Мятлик луговой» и «Коровий век».

Получив от Вас двухтомник, я пробежала глазами названия рассказов, и мне показалось, что это те же 12 рассказов, что помещены после ЮАВ. А сегодня перечитала кое-что мне известное и вдруг наткнулась на два новых рассказа. Прочла их на одном дыхании и вот сейчас еще раз перечитываю. «Коровий век» – что-то необычное. Такие вещи занимают особое место в мировой литературе. У Джека Лондона – «Белый клык». В русской я знаю только две аналогичные вещи – «Холстомер» Л.Н.Толстого и «Каштанка» А.П.Чехова..... Конечно, я прежде всего не корову эту вижу, а Вас с Вашей удивительной *слияnnостью* (это слово мне кажется здесь более уместным, чем узусальные *слинность*, *слияние*) с окружающим миром, с Вашим умением раствориться в этом мире. Собственно, в «Мятлике луговом» я уловила это же чувство причастности к природе. И написаны обе вещи в одной – минорной – тональности, хотя, пожалуй, минор глубже в «Мятлике», потому что там он «очеловечен».

Интересно было бы узнать, как Вы воспринимаете мои рассуждения о Ваших произведениях. Есть ли рецензии на эти рассказы? Где?

Слежу за «Литературкой». Жду отрывка из Вашего нового произведения. Скоро ли?

10.04.76... Есть особого рода телепатия: ты вспоминаешь о ком-то или о чём-то, а через короткое время сталкиваешься с этим в реальности. Это, конечно, ни о чём не говорит, в частности – о телепатических свойствах твоей психики, но всегда как-то поражает: я ведь об этом подумала! Примеры: 1) 24 марта писала Вам о том, что Ваш рассказ «Коровий век» напомнил мне «Холстомера». А в ЛГ от 7.04 напечатана рецензия на спектакль «История лошади», поставленный в БДТ им. Горького Товстоноговым. Может, премьера состоялась именно 24-го? 2) Узнав, что Вы летите в Италию, я подумала, что Вы должны встретиться с Альберто Моравиа (кстати, он был в Самарканде и выступал у нас на факультете). И в этом же номере ЛГ читаю о том, что А. Вознесенский встретился с Моравиа в Италии. А помните, Вознесенский пришел на вечер памяти Шукшина с опозданием, только что с самолёта? Может, как раз в этот день он прилетел из Италии?

И вся эта цепь ассоциаций связана с Вами.

13.04.76...Сегодня прочла повесть В. Распутина «Живи и помни», рассказы «Рудольфио», «Встреча» и др. Спасибо Вам – это Вы посоветовали мне познакомиться с его творчеством. Этому – веришь, это – настоящее, мастерский сплав прозы, поэзии и драмы жизни (о повести). Идею повести я поняла так: даже ради новой жизни нельзя поступаться интересами общества, т.е. приоритет социального над личностным (я сознательно «оголила» основную мысль), против чего я всегда внутренне протестую. Но вслух – не говорю: моё мнение противоречит официальной советской идеологической доктрине.

14.06.76. ... Вы даже не представляете, как часто Вы входите в мою жизнь, даже повседневную. Вот по телевидению сообщили, что Ваши произведения будут изданы в ФРГ, и сын кричит мне об этом из другой комнаты; ко мне приходит моя диплоmnица, по имени Дора, и я каждый раз вспоминаю Вашу Дору и не могу догадаться, почему Вы так нарекли простую сибирскую женщину...

Это никогда не перестает удивлять и поражать: как неприметные, обычные, непознанные, неземные по характеру своей семантики слова, сочетаясь, способны так воздействовать на тебя, что ощущаешь то, чего с тобой никогда не было... Как это обычные слова вызывают в тебе сложную ответную реакцию, сплав рационального и эмоционального, такое психологическое состояние, которое трудно определить, назвать... Какое это чудо – слово в руках мастера! (После прочтения Вашего рассказа «Санный путь»).

10.07.76. ...Отношу себя к тому типу личности, который складывается в нашей стране в результате тесного взаимодействия наций и народностей. Поражает то, что это проис-

ходит в рамках одного поколения. (Сравниваю себя со своей матерью – дистанция немислимого размера!) Сознаю, что в этом процессе есть много минусов: стирается, нивелируется национальное своеобразие – в психическом складе, обычаях, мышлении, я уже не говорю об утрате национальных особенностей быта – в одежде, интерьере, домашней утвари, пище... **Гораздо хуже то, что забывается, а иногда и полностью утрачивается национальный язык. А может, этот процесс наиболее характерен именно для моего народа, потому что у него насильственно обрезаны корни?**

Но каковы плюсы: приобщение к великому русскому языку, к мировой культуре, широта духовных интересов... Во всяком случае, процесс этот, по крайней мере сегодня, в нашей стране представляется необратимым и именно поэтому почти неуправляемым. И осознание этого в какой-то мере снимает с тебя чувство ответственности. И всё же – **грустно и горько.** (Размышления по поводу Ваших мыслей об индивидуальности, лица необщем выражении героя, куда входят и «черты национальности, присущие только данному народу и только его обстоятельствам жизни», – после чтения Вашей рецензии на автобиографические повести Айлисли, ЛГ, 7.07.76.)

(P.S. 17.02.2006. Тогда я и подумала не могла, что через 14 лет вернусь на родину, восстановлю свою крымскотатарскую языковую компетенцию, буду заниматься проблемами возрождения и развития крымскотатарской культуры.)

17.01.77 Мне думается, что Вы пишете не для массового читателя: Ваш читатель не ищет занимательного сюжета, он умеет «трудиться душой», он умеет видеть мир «изнутри» и себя осознает частью этого мира... Он ценит сильные чувства, ищет их, он отрицает бездуховную жизнь.... Он человек зрелый, прошедший через разные жизненные испытания, но не утративший интереса к жизни в высших формах её проявления... Я бы сказала ещё так: это человек, умеющий тонко чувствовать, видеть мир с неутраченных позиций, умеющий узнавать это чувство в других и ценить его, поэтому он приметит особый психологизм Ваших вещей, – особый потому, что он держится не на каких-то сильных страхах, а на особом приятии, видении мира.

Я давно думала о типе Вашего читателя, но не позволяла себе высказаться по этому поводу, потому что нахожусь в каком-то неловком положении и по отношению к Вам, и по отношению к себе. Признавая немассовость, некоторую элитарность Вашего читателя, я, с одной стороны, как бы возвышаю себя как Вашего читателя, с другой, как бы принижаю Вас, считая Вас писателем не для всех, интересным и понятным не всем. Я не знаю, как мне выбраться из этих ножниц. Хочется поговорить с Вами об этом и узнать Ваше мнение...

25.01.77. Дорогая Адиле Мемедовна! Рад буду видеть Вас, если Вы окажетесь в Москве. Не совсем только уверен, что весь февраль буду дома. Звоните! Ваш С. Залыгин.

P.S. Долго отсутствовал и только сегодня получил Ваше письмо. А получили ли Вы мою книгу?

Февраль – июнь 1977 г. я была на ФПК МГУ (факультет повышения квалификации для преподавателей университетов). Жила в блоке какого-то корпуса (В?, Г?) на Ленинских горах. Встречались очень редко. В беседах мы обсуждали те вопросы, которые я затрагивала в своих письмах; он рассказывал о всяких интересовавших и волновавших его событиях.

Как-то сказал, что звонила Лидия Шукшина: она затевает тяжбу с коллективом театра «Современник», который поставил спектакль по пьесе Шукшина, назвав её инсценировкой, за что они получили авторский гонорар. Лидия считает, что это не инсценировка, потому что у Шукшина это была готовая пьеса.

– То-то они были такие ласковые со мной, приглашали на просмотр. Я как чувствовала – не пошёл... Мне мать его часто пишет. Но многое не разобрать – неграмотная, плохо пишет. Конверт ей кто-то надписывает...

Был очень озабочен работой над романом «После бури». Задумал 8 частей, по годам – с 21-го по 30-31. (*«Может, не все годы включу.»*) Написал только две главы. Главным героем – бывший белогвардеец, бывший приват-доцент, читал курс натурфилософии. Она – медсестра. В «Неделе» за 1976 были опубликованы фрагменты.

Закончил статью о Л. Толстом, которая ещё у машинистки, но её – со стола машинистки – взял без разрешения автора и прочёл завкафедрой литературы МГУ Николаев и похвалил сегодня.

– Он же поступил неэтично, взяв без Вашего разрешения неопубликованную вещь, – сказала я.

– *Я об этом как-то не подумал.*

Рассуждал о модернизме. Модернизм как всякая модификация какого-то направления в искусстве, по его мнению, возник раньше реализма. Первые рисунки, танцы древнего человека – уже модернизм, потому что они были символами, а не адекватными отражениями действительности. Реализм возник с возникновением и развитием наук, он высшая и наиболее совершенная форма искусства, наиболее трудная, сложная. Его предпосылкой явилось развитие наук...

6.04.1977 Часто встречал меня словами: *«Ну что, татарочка моя европейская!»*

Я задавала ему всякие вопросы:

– Вам известна этимология Вашей фамилии?

– *Нет, не знаю.*

– В «Словаре русских фамилий» В.А. Никонова написано, что она восходит к диалектному слову *залыга* – от *лгать*, т.е. человек, склонный в выдумке, лжи; фантазёр....

– Почему не хотите экранизировать свои произведения?

– *Ну, у меня была одна экранизация – по «Тропам Алтая». В 60-ые или 50-ые годы. Но получилось неудачно. Там есть смерть Снежаны, но трагизма не получилось.*

Да, трагизма там нет.

Я убил на эту экранизацию целый год. И неизвестно, что лучше: за этот год я мог бы написать какую-нибудь вещь. Я перед кино ставлю вопрос так: или я соавтор, сам предлагаю сценарий, или я просматриваю готовый фильм, и если мне не понравится, не соглашаюсь. А они хотят работать навяняка. Ведь другие бегают за ними, кланячат. А я независим, и это даже внушает им уважение ко мне. Они уважают меня за это.

– *Работаю над новой вещью – «После бури». Это детектив, психологический. Написал уже две главы, но работается трудно. Надо поднять много материала по изопсковскому времени. Трудно это очень. Каждая глава – самостоятельный рассказ.*

– *Есть у меня здесь друг детства, мы вместе в школе учились. Очень хороший, добрый человек. Но с ним трудно, мы с ним совсем разные. Директор какого-то завода, изготавливающего космические аппараты и приборы. Он меня дважды от смерти спас. Однажды в детстве, когда я тонул, он вытащил меня из воды. Он огромный, высокий, сильный мужчина, в эти двери с трудом войдёт. И тогда, в детстве, он был таким – большим, сильным. А второй раз, когда у меня что-то случилось с сердцем. Я приехал в Москву, остановился в гостинице (лет 15–20 назад). И вдруг схватило сердце. Я пальцем с трудом показал в записной книжке номер его телефона. Он сразу же приехал, с женой, всю ночь был со мной. Шесть раз приезжали той ночью врачи из кремлёвской больницы.*

– А отчего сердце-то?

– *Да я перезрел в Египте. Был там перед этим. С тех пор жару плохо переносю. Не езжу на юг, к морю. И в Азию мне нельзя.*

– В детстве я был очень пропорционально сложен. Учителя-педологи (была тогда в школе такая учебная дисциплина – педология) водили меня на свои уроки в качестве нагляд-

ного пособия. Все мои размеры соответствовали тогда какому-то эталону. Только позже у меня расширились плечи, т.е. стали шире, чем это им, учителям, было необходимо...

22.04.1977. С.П. Залыгин выступал перед читателями в МГУ, в здании гуманитарных факультетов. Это был последний день международной конференции по теории литературы. Я тоже пошла. Говорил долго, около двух часов, все время держа в напряжении зал.

27.04.1977. При встрече я упрекнула его:

– Ну почему Вы не предупредили меня о том, что будете выступать в МГУ?

– Я звонил Вам несколько раз, но всё неудачно.

– Но могли же Вы передать через дежурную, что будете выступать тогда-то и там-то.

– *Боюсь, а вдруг будет какая-нибудь бяка...*

– Ну какая бяка могла быть! Господи! Правда, задавали всё те же вопросы, какие и я задавала Вам. Кстати, спрашивали о том, как возник замысел ЮАВ.

– *Ну вот, видите, нечего Вам было там быть.*

– Ну нет, я хотела увидеть Вас в другой ипостаси – в официальной, так сказать, обстановке.

Поириетересовался, какое впечатление произвело его выступление. Я сказала: замечательное, держал в напряженном внимании зал в течение двух часов.

– *После издания ЮАВ стали приходить от женщин письма. Ну, не сотни, нет, но десятки – да. Почти ничего не сохранил. Вот только есть письмо от женщины-лётчицы, участницы войны. Вот ведь – бомбила, убивала, а женское ей не чуждо, сохранила всё. Герой Советского Союза. Были письма с явным желанием встретиться, но я не отвечал, не хотел.*

– А на моё сразу ответили.

– *Да, оно как-то сразу зацепило меня, оно как-то выделялось из всех.*

И добавил:

– *Татарочка моя нетипичная!*

Подарил двухтомник В. Шукшина со своим предисловием, томик Б. Пастернака.

– А своё?

– Будет, будет.

– *Меня очень часто и много печатают. Тиражи большие. Почти в каждом журнале – «Вопросы литературы» и др. – есть обо мне статьи, интервью. Платят по самой высокой ставке – 400 руб. за печатный лист. В Союзе, наверно, человек 200 не наберётся таких. Ни в чём нет нужды, обеспечен. Но я и раньше всегда имел деньги. Много работал, сразу в нескольких местах. И всегда другим помогал. Годами выплачивал пособие (стипендию) некоторым своим ученикам. На свои деньги там, ещё в Сибири, привёл в порядок детский дом, отремонтировал, купил необходимые приборы, мебель и пр. И знаю, что это всегда как-то возвращается ко мне. Вот тогда начальник горздрава, в ведении которого был тот детдом, спас мою дочь. После родов у неё началась какая-то очень редкая послеродовая болезнь. Я как-то сразу почувствовал, что с ней неблагополучно, хотя из больницы ответили, что всё хорошо. Поздно ночью позвонил этому человеку, а он (это я потом узнал), оказывается, позвонил в больницу, выяснил, что она при смерти и требуется какое-то очень редкое лекарство. Он позвонил сразу же в военный округ, и оттуда специальным вертолётом прислали это лекарство, которое её спасло.*

Да, я верю, что добро всегда как-то возвращается.

– *Сейчас на телевидении снимают фильм о моих учениках, которых я выпустил в литинституте им. Горького. У меня был один семинар, принял 31 человека, но я больше половины разогнал, выпустил 12 (или 11?) человек. Остались неплохие. Уже имеют по несколько своих книг. Вот их собрали – приехало около 10 человек – и что-то снимают. Будут показывать в апреле. Конечно, я предупрежу Вас.*

Предупредил, что передача состоится 15 мая в 15 часов, а я в это время была в поезде – ехала из Тернополя. Позже выяснилось, что показ перенесли на 5 июня, но он не смог меня предупредить.

8.06.1977. С 1-го июня телефоны в общежитии не работают – нет дежурных. Сергей Павлович позвонить никак не может. Я сама звоню почти ежедневно, но не застаю его дома. Наконец я решилась позвонить домой. Трубку взяла дочь и позвала его. Я все ему объяснила насчёт телефонов, попрощалась и подумала, что с тем и придётся уехать. Но вот сегодня обнаружила в ящике на дверях записку в конверте: *Позвоните, пожалуйста, 7.06 с 20 до 22-или 8.06 в 8.00.*

С 18.00 периодически, через каждые 15 минут, бегала к телефону. Наконец отозвался. Сказал, что не очень хорошо себя чувствует, устал, пригласил в гости домой. Объяснил, как доехать. Говорили о всякой всячине. Я прочитала своё, только что написанное, стихотворение – подражание Ахматовой:

И в тайную дружбу вступила,
И в темные очи глядела.
По нимбу волос серебристых
Рукой осторожной прошлась.
И сердце моё трепетало –
Рука твоя властно и нежно
С моею рукою сошлась.

С.П. воспринял стихотворение как посвящение ему, сказал:

– *У меня ведь глаза не тёмные.*

Сказал, что 25 сентября будет с группой писателей в Самарканде, на беседах за круглым столом:

– *Я ведь могу ехать куда хочу, в любую страну, а в жаркие страны я вообще не езжу.*

– Значит, из-за меня?

– *Ну, конечно, только из-за Вас*

– Но Вы не предадите меня там, сделав вид, что не знакомы со мной?

– *Конечно, нет. Увидимся обязательно.*

Самарканд, 6.07.1977.И опять телепатическое совпадение: сидела за письменным столом и вспоминала один из наших последних разговором – о модернизме, о реализме, о синкретизме первобытного искусства. С.П. говорил о том, что модернизм старше реализма. Я сидела и думала: всё зависит от того, какое содержание вкладывать в термин «модернизм». И в эту минуту меня позвали: почта – пришли Ваши книги «Комиссия» и двухтомник «Избранного». Правда, в последние дни я постоянно думала о Вас и даже опять начала Вам писать. И хочется думать, что до Вас долетели мои флюиды. (Так не хватает чего-то таинственного, чудесного, поэтического!!)

Благодарю – за то, что помните, что приняли меня в свою жизнь и, хочется надеяться, – в своё сердце.

Самарканд, 8.07.1977. Только что дочитала «Комиссию». Восприняла роман прежде всего умом, а не сердцем. И это кажется парадоксальным: психологическое произведение – исторические события воспринимаются через размышления и чувства героев, которые много говорят – в форме диалогов и монологов особенно – воспринимается не сердцем, а умом. Поражаешься тому, как автору дано так проникаться мыслями и чувствами героев. Как он может так переключаться от одного к другому, ничуть не смешивая стилистики образов! Как он знает жизнь мужика! Как он видит и «понимает» всю крестьянскую живность – кур, овец, коров, коней (Глава «Движимое имущество».) Я догадываюсь, как это

невообразимо трудно – воспроизвести то, что было десятки лет назад, не описательно, не в авторских ремарках, а в образах конкретных людей – в их эмоциях и мыслях!

Женских образов – живых, не сказочных (полуявских девок) – в романе мало: Зинаида и Домна. И обрисованы они не так полно и не так «изнутри», как мужские, а «снаружи» (но отнюдь не поверхностно): Зинаида – глазами Устинова, Домна – глазами Зинаиды. Но и в этом малом угадывается поразительное (пронзительное?) зальгинское умение проникать в женскую психологию. Это особенно поразило меня в ЮАВ, так как там этот женский «психологизм» дан в концентрированном виде. Этот особый психологизм проявляется в характеристике даже эпизодического женского образа – дачницы с двумя детьми, поселившейся в Лебяжке, чтобы быть поблизости от своего чахоточного возлюбленного, лечившегося кумысом в киргизской кибитке:

– Он, поди-ка, ещё и сторонился её-то? Красавец чахоточный! Боялся заразиться? Или, наоборот, она его сторонилась?

– Кто их знает...Только она навряд ли боялась! Когда бы боялась – не поехала бы из города след за им тайно, да с двумя собственными детками.

– Детей пуще всего матери жалко. Это так.

– Но это ведь как у женщины случается? Это у её случается выше всякой жалости...

Как это верно! Когда **это** – любовь – случается у женщины, это действительно бывает выше жалости, выше любви к собственным детям. Ср. ахматовское:

Это просто, это ясно,
Это всякому понятно,
Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда.
Для чего же так тянуться
Мне к чужому человеку,
Для чего же каждый вечер
Мне молиться за тебя?
Для чего же, бросив друга
И кудрявого ребенка,
Бросив город мой любимый
И родную сторону,
Чёрной нищенкой скитаюсь
По столице иноземной?
О, как весело мне думать,
Что тебя увижу я!

22.11.77. Дорогая Адиле! Извините, пожалуйста, так долго не посылал эту книгу. (Распутина. – А.Э..) Был за границей, прихварывал, всё тут было.

От всей души желаю Вам всего-всего доброго, здоровья и бодрости прежде всего!
Ваш С. Зальгин.

23.12.77. Дорогая Адиле Мемедовна! От души поздравляю Вас с Новым Годом!
Желаю всего-всего самого доброго!

Я много работаю, но и разъезжаю тоже – был в Прибалтике, собираюсь за границу.
Так ещё раз – поздравляю! Ваш С. Зальгин.

22.04.1978. Дорогая Адиле Мемедовна! Поздравляю Вас с Праздником Весны, желаю всего хорошего! Ваш С.З.

P.S. Послезавтра улетаю в США на три недели.

Самарканд, 29.11.1978. В 21.30 позвонил С.П. из Москвы:

– На днях пролетал над Вашими местами (12 дней был в Индии, с 15 по 27 ноября). Ну, как Вы? Вы не приходили тогда в ЦДЛ? Почему?...Уезжаю на месяц в Прибалтику.

– Вы же говорили, что сможете уделить мне только полчаса. Решила – не расстраиваться.

– Но всё случилось иначе. Смог бы быть с Вами дольше. Когда будете в Москве?

– Не ранее февраля, если будут каникулы. Я сообщу Вам заранее.

– Да, и имейте в виду, что с 1-го по 10-е февраля уезжаю в Узлич. Как Ваши маленький?

– Вот передает Вам привет. Он знает о Вас.

21.12.1978. Дорогая Адиле Мемедовна! От души поздравляю Вас с Новым Годом, желаю всего-всего хорошего!

Пишу из Дубут, сижу здесь и работаю, занимаюсь латышами.

Ваш С. Залыгин.

В конце февраля 1979 г. была в Москве. Днём – всякие дела, а вечерами я часто ходила в театр. С помощью С.П. в те годы я бывала в лучших театрах – «На Таганке», им. Маяковского, «Современник»: он звонил руководителю литературной частью театра, и на его имя оставляли два билета на самых хороших местах. Со мной он никогда не ходил – я приглашала своих московских знакомых. 23 февраля, помню, была на спектакле по пьесе В.Шукшина «А поутру они проснулись...» – в театре «Современник».

Виделись несколько раз.

23.5.1979. Опять в Москве. Договорились встретиться в ЦДЛ в начале четвертого.

Пришла, прошла в фойе, стояла у доски с планом мероприятий, когда услышала: «Адиле!» Прошли в зал, сели за длинный чайный стол, пили чай и разговаривали. Больше – он. Был очень оживлён, жестикуюлировал.

Договорились встретиться завтра, в это же время, в ЦДЛ.

Назавтра встретились. Пока он ходил по делам (секретарь Правления СП), я сидела в фойе. Тут мужчина, сидевший напротив, поманил меня пальцем. Удивилась: никого здесь не знаю, и сама поманила его тем же фамильярным манером – пальцем. Но он повторил свой жест и показал на разложенные на столе бумаги. Подошла. Оказалось: какой-то армянский поэт, просит просмотреть подстрочник своего стихотворения.

Пришел С.П. Пригласил на дачу в Переделкино. Прекрасная дача, точнее – полдома. Уютный кабинет. Большие, во всю стену, окна – прекрасный вид из обоих окон. Попросила разрешения сесть за его письменный стол. Дал прочитать машинопись статьи о Пушкине, которая пошла в ЛГ, рукопись романа «После бури». Пожаловался: роман не закончен, трудно пишется, надо поднимать много литературы в библиотеках и архивах..

На листке бумаги – памятка, в каких странах переводят его книги, преимущественно – ЮАВ и «Комиссию»: в 79-ом году – в 13 странах, в 80-м – в 7–8..

– Меня начальство не очень любит: слишком независим, неудобен для них. Вот Твардовский как-то сказал о «секретарской» литературе – произведениях секретарей Союза писателей. Никто об этом вслух не говорит, а я написал об этом в воспоминаниях о Твардовском. (Речь шла о прозе Г. Маркова, секретаря СП СССР.)

На обратном пути (вызвался проводить меня до Москвы) до прихода электрички повел меня за рошу, где на открытой поляне раскинулся цыганский табор.

– Сеются где хотят. И милиция ничего не может сделать, и сельсовет. Да они «договариваются» с ними.

В электричке говорили о сб. «Литературные заботы» (2-ое изд., куда вошли эссе о Гоголе, Л. Толстом). Спросила, как выступил с докладом о Гоголе в Венеции летом 1977. Читал доклад около 40 минут – синхронный перевод. Ходят разговоры, особенно на Западе, что Гоголь был некроманом: где-то якобы сохранилась его расписка смотрителю римского morga в том, что он брал на ночь женский труп. Прямых доказательств нет, в основном – косвенные: мотивы его ранних произведений, отсутствие в его личной жизни женщин... Всё это неубедительно, хотя одна дама, соседка по Перedelкино, уверена в этом.

На вокзале в Москве я призналась, что хочу есть. Предложил поужинать в ЦДЛ. Поехали на такси. Заказал хорошую рыбу, грибы в сметане. Выпили по бутылочке пива.

Показал на женщину за соседним столиком:

– *Узнаёте? Её часто отсюда выносят на руках. Неумеренно пьет.*

Добавил:

– *Она и N (назвал имя известного поэта) сейчас что-то затевают.*

– На личном фронте?

– *Нет, это всё уже было давно. Сейчас – что-то диссидентское.*

Шли пешком до моего дома на Кропоткинской. Вышли не с того конца улицы, пришлось идти довольно долго. Стало прохладно. Предложил мне свой плащ. У дома расстались. Нежно поцеловал в щёку.

Прощаясь, попросил у меня три рубля на обратный путь до Перedelкино, хотя колебался, ехать туда или домой, на Ленинский проспект. Я засмеялась, он тоже засмеялся и спросил:

– *Это ничего?*

– Конечно, ничего. Но хватит ли трёх рублей?

– *Хватить – у меня есть ещё пятёрка.*

Несколько раз сказал:

– *Мы славно провели сегодня день.*

– Да, очень хорошо!

8.06.1979. В ЛГ от 4 июня напечатана статья С.П. о Пушкине – «Я числюсь по России» (к 180-летию со дня рождения). Я читала эту статью в рукописи у него на столе в Перedelкино, посоветовала убрать слово **антик**, которое он употребил в значении 'представитель античной литературы'. В газетном варианте это слово заменено описательным оборотом.

13.01.1980. Была в Москве в декабре прошлого года 25 дней (?), но увидеться удалось один раз (ЦДЛ – Перedelкино). С лета 79-го года с ними живут дочь Галина, внучка Маша (Мушинская) и внук Сережа. Машка, сказал он, заканчивает среднюю школу и мечтает в выборе вуза. С.П. хочет, чтобы она поступила на филфак МГУ:

– *Я бы сразу сделал её своим секретарем и назначил зарплату 180 руб.*

– А так можно?

– *Да, и это засчитывается в трудовой стаж.*

Сдал в печать 1-ю часть романа «После бури». Летом ожидает её выхода в свет (в «Дружбе народов»?). Но ещё много работы. Кажется, будет столько частей, сколько лет охватывает роман.

Летом отдыхал в Карловых Варах. Удалось хорошо поработать. Написал большой очерк (?) и пьесу, в которой одним из персонажей является обыкновенный стул.

– В жанре пьесы Вы пишете впервые?

– *Нет, уже было...не помню что, и даже, кажется, где-то ставили...*

Да, у Вас уже были подобные «герои», например – Интеграл в «Оське – смешном мальчике». Ну, и говорит Ваш стул?

– *Нет, но, пожалуй, я заставлю его говорить.*

– А чьими устами он будет говорить?

– Ну, это нетрудно сделать с помощью современной аппаратуры.

22.05.1980. Приехала в Москву. Позвонила, представилась. Жена С.П. сказала, что он – в ЦКБ (Центральной клинической больнице) Совмина (за Сокольниковками, в лесу). Объяснила, как туда ехать. Я поехала.

С.П. бодр, энергичен, работает, пишет 2-ую часть романа «После бури» (первая часть уже опубликована в 4 и 5 номерах ж. ДН). В газете «Правда» от 10 марта опубликована статья «Литература и природа»: что может литература в постановке и решении проблемы «человек и природа».

Подробно расспросил о моих делах, рассказывал о дочери, о Машке (учится в вечерней школе, хочет поступить на испанское отделение филфака МГУ. «Славный человечек, умна, хотя был период беспокойства: появились странные друзья».

Шутил: «Вот позвонил своему знакомому в ЦКБ, в тот же день в палате появился телевизор. Позвонил знакомому еврею, через час был звонок из Ленинграда от лучшего специалиста в этой области (онкологин?) с предложением своих услуг в случае надобности. Вот ведь какие разные возможности у этих людей.»

Это было сказано в продолжение нашего разговора о засилье евреев в искусстве и науке. Я почувствовала в его словах лёгкие антисемитские нотки, хотя он отрицает это, утверждает, что имеет хороших знакомых среди евреев. («Друзей у меня вообще нет».) Свердлов, Зиновьев, Каменев... были евреями. До революции для евреев была черта оседлости, в городах их не могло быть больше 3% от общего числа жителей....Достоевский, Гоголь не скрывали своего антисемитизма. Это не мешало Горькому дружить с К. Чуковским.

– А как Лев Толстой относился к евреям?

– Признавался, что тоже их не любит, но воинствующим антисемитом не был.

4 июня в ЛГ будет напечатана его статья о латышской поэзии (курирует от СП РСФСР латышскую писательскую организацию).

На столе в палате – книга Б. Панкова (литературный критик, писал о творчестве Ю. Трифонова, В. Распутина) с дарственной надписью. Сказал: «Дал книгу с тайной надеждой, что я напишу о ней, а я не хочу писать, хотя он работает в ВААП (Всесоюзное агентство авторских прав), – открыл бы мне широкие возможности для публикации за границей».

В связи с книгой Панкова я сказала:

– Всё-таки литературоведение – это интерпретаторство, паразитирование на теле литературы.

– Согласен.

В этом году ЮАВ издается в ГДР, во Франции – «Комиссия», в Австрии – тоже. Пожаловался: вот рассказы не переводят.

Около получаса гуляли по парку. Услышав пение птиц, сказал:

– Вот в Переделкино совсем не осталось птиц, а здесь поют. Вообще, птиц люблю больше, чем других животных: свободно летают, от человека не зависимы, не мстят ... и поют...

Взял на ужин привезенные мной свежие овощи: укроп, петрушку, редис, огурцы – с удовольствием хрупал огурцом (в столовой не разрешили бы). Поблагодарил за курагу, кишмиш.

Пробыла с ним около полутора часов.

25.05.1980. Была в ЦКБ с 11.10 до 13.30. Написал коллективное письмо (подпишут и другие писатели) Брежневу: выступает против переноса вод Печоры в Каспий, сибирских рек – в Среднюю Азию, для полива хлопчатника. С его позволения я села за письменный стол и прочла черновой вариант этого письма. Объяснил: поливная система в хлопководстве сейчас имеет 10% КПД (испарение, фильтрация). Надо добиться более эффективного использования существующих оросительных систем, и тогда не будет необ-

ходимости в изменении русла сибирских рек. И вообще изменение русла этих рек может иметь непредсказуемые глобальные последствия.

– Г. Марков много хорошего мне делал, но *его* человеком я не стал и не буду; не хочу писать о *его* творчестве. Мало того, он знает мое отрицательное мнение о *его* творчестве. А Н. (назвал известное мне имя) будет теперь ему лизать все места, будет его комнатной собачкой.

Опять говорил о дочери, внучке Маше:

– ...А вот Машка – моя отрада. У неё прекрасное чувство слова. Первая моя читательница – сразу после первой машинки. Читает с нетерпением, с пылу с жару: «Дед, дай я почитаю... Дед, вот здесь что-то не так... Я подумаю». И всегда скажет, что именно не так. Хороший человек.

– ...Сейчас идёт жуткий делёж премий, изданий (персональные издания). Раньше нас было несколько человек, мы как-то пытались выступить против этого. Но один уже умер, а другой (был честный человек) переродился – всё гребёт под себя. А я стараюсь теперь держаться в стороне. Но со мной считаются.

Опять говорили об антисемитизме, о волне русификаторства (?) как реакции на засилье евреев. Чувствуется: не любит евреев.

Пошел провожать меня до ворот клиники. Поцеловал руку и в губы. Уходя, я постоянно оборачивалась. Он долго стоял и махал рукой.

В среду, 28-го, операция

P.S. Звонила. Операцию отложили, кажется, до осени. Не сказал почему.

7–12 апреля 1981 г.в Душанбе был съезд писателей Таджикистана (?), а может, мероприятие, связанное с С. Айни. Залыгин С.П. был приглашён, а потом попросился в Самарканд, где он ни разу не был.

13–15 апреля был в Самарканде. Остановился в гостинице «Зеравшан». 13-го, примерно в час дня, позвонил и сообщил номер комнаты. Я сразу же пришла (рядом с домом). Принесла семь тюльпанов. Стоял, ждал.

– Рада видеть Вас! Заждалась. Вчера ночью никак не могла уснуть. С час ворочалась. А Вы когда уснули?

– Да в это же время. Но рано встал.

Обнял, поцеловал.

На следующий день пришла, на дверях – записка: *Я в ресторане обедаю. С.З.* Я пошла туда. Пообедали вместе.

14-го же я организовала его выступление перед преподавателями и студентами нашего филфака. Встреча длилась с 13.30 до 16.00. Задавали много вопросов:

– У Вас есть такой необычный рассказ – «Коровий век». Почему Вы написали его?

– Мне хотелось увидеть другую – не человеческую – жизнь «изнутри». Это ведь совсем другое ощущение. Вот у человека центр тяжести всегда на одном и том же месте. А у коровы он перемещается даже в течение суток в зависимости от того, голодна она или сыта, подоили её или нет. Ведь за один раз могут выдоить до 16 литров молока.

Вот и о детях я тоже хотел написать. Это же иной мир, они думают не так, как взрослые. Я ужасно уставал за полтора – два часа общения с внуком.

Как-то задумал написать о детях на четырёх уровнях: общение детей друг с другом, с воспитателями, с родителями и наконец – с дядями и тётями из АПН, которые живут о детях, думая, что они всё знают. А это совсем особый мир. Например, моя дочь в детстве боялась заходить в две комнаты, но не говорила почему. И только позже сказала: там электрические розетки с глазами – в них кто-то есть. Ведь чайник включается и кипит, свет зажигается, значит, кто-то там есть.

– Какое произведение у Вас было первым?

– Первое мое произведение – это драма, написанная во время похода с одноклассниками по Алтаю. Это было в 1929 году. Тогда как раз начиналась коллективизация, и мы, дети 14–15 лет, столкнулись с трудностями такого рода: надо было платить местным жителям за пропитание, так как их отношение к горожанам с началом коллективизации резко изменилось в плохую сторону. А денег у нас не было. И вот я в течение двух дней написал пьесу, и мы её играли в разных деревнях. Нам платили натурой. Пьеса шла с успехом, какой не выпадал и на некоторые мои более поздние вещи. Это объяснялось, думаю, тем, что крестьянам искусство перевоплощения, искусство театра, вообще было в новинку.

Потом эту пьесу ставили в местном (Барнаульском) драматическом театре. Мама моя сохранила этот текст.

И понимаете, что интересно: хотя прошло столько лет (более пятидесяти), я очень хорошо помню не только каждый день этого похода, но и каждый час: помню, какую природу мы видели, по каким рекам плыли, вижу их берега, зверушек и птиц, которые нам встречались...

– Как Вы относитесь к кино и есть ли кинофильмы по Вашим произведениям?

– В кино не хожу. К экранизации своих произведений отношусь плохо, отрицательно. Может, это связано с первым неудачным опытом экранизации моей повести «Тропы Алтай». Я поехал вместе с киногруппой на Алтай, сам выбрал хорошее место для съёмок. А они всё капризничали что-то и делали совершенно странные, с моей точки зрения, вещи. Ну, например, им кажется, что актриса находится низко (по отношению к фону).

– Ну, так опустите камеру, – говорю им. Возражают:

– Ну, что Вы, это же сколько надо возиться! Мы сделаем так.

И они ставят на камни доску. И вот актриса ходит по одной доске. Ну, как она может сосредоточиться, войти в образ, если ей постоянно надо смотреть под ноги, чтобы не упасть! Поэтому, когда я смотрю кино, я не верю актёрам, не верю в их естественность, думаю: а вдруг она, актриса, ходит по одной доске.

– Каковы Ваши творческие планы?

– Вот напишу роман о нэпе, он будет в семи частях: семь романов, связанных друг с другом только сквозным героем – Корниловым, и больше ничего не буду писать – такого большого, серьёзного. Так что-нибудь, маленькое, не требующее такой напряжённой работы. Устал.

Много общались. «Выдумщица», – повторял несколько раз по разным поводам. Про мою фотографию сказал:

– Здесь Вы мрачная. И взгляд, и выражение лица что-то строгие.

– Возьмёте?

– Возьму.

– А как же объясните, что это?

– Что-нибудь придумую.

– Я придумала. Напишу так: От Ирины Викторовны Мансуровой (героиня романа ЮАВ) в память об уникальном совпадении. Может же быть такое совпадение.

– Выдумщица. Ну, ладно, пусть так.

Я так и написала на обороте своей фотографии и добавила: Самарканд, 9 апреля 1981. Взял и сразу положил в дорожную сумку.

15-го, в день отъезда (назад, в Душанбе), перед самым самолётом, я зашла к нему в гостиницу. Там уже был сопровождавший его по Таджикистану писатель. Поехали все в дом-музей Садриддина Айни, где отмечалась 103-я годовщина со дня его рождения. Я взяла принесённые мной тюльпаны. Возложил их на памятник, сделал запись в журнале почётных посетителей. Выступил с маленькой речью: из ничего (рассказ С. Айни «Смерть ростовщика») сделал что-то внушительное. Умница!

В аэропорту, прощаясь, сказал мне:

– Спасибо Вам за то, что приняли участие в моем пребывании здесь.

– Спасибо Вам, что приехали и доставили мне такую радость.

Прощаясь, поцеловал руку.

Из Душанбе летит в Новосибирск – для работы в архиве планового отдела (комитета?) в Сибири, где после революции работал главный герой его романа «После бури» – Корнилов.

С сентября 1981 г. я оформила двухлетнюю докторантуру и уехала на четыре месяца в Москву. Сняла комнатку у Марии Леонидовны (фамилии и адреса не помню).

В сентябре С.П. отсутствовал: в составе писательского десанта (Ким А., Распутин В., Астафьев В., Белов В. и др.) ездил на Северо-Запад России (Петрозаводск, Кольский полуостров).

Октябрь 1981. Дважды встречались в ЦДЛ. Почти уговорила пойти со мной на «Ричарда III» в театре Вахтангова – на Михаила Ульянова. Билеты достал, но пойти не смог: простудился на Дальнем Востоке, куда ездил с десантом писателей на Фадеевские торжества.

Во вторую встречу подарил книгу Кима Анатолия и сборник стихотворений К. Случевского. Дважды ужинали в ресторане ЦДЛ. Оба раза провожал меня до дома на такси. Я стала говорить о прочитанной мной книге Кима Анатолия. У него во всём ощущается вторичность – в сюжете, фабуле: «Лотос» – ср. с «Последним сроком» Распутина; «Нефритовый пояс» – у кого-то из русских писателей есть аналогичная повесть о женщине, у которой ошибочно диагностировали рак груди; «Яйца по-китайски»(?) – что-то у эстонского писателя Взмема. В поэтике похож на самого Залыгина: описывает не внешние события, их почти нет, а невидимые миры. Но миры эти насыщены плотным потоком жизни, и это интересно. Очень своеобразен – музыкален – слог (стихи в прозе?). И особенность фразы: она представляет собой внутреннюю речь разных персонажей, очень органично «переливающуюся» от одного персонажа к другому. Такое построение фразы я вижу впервые...

Но СПЗ ничему не внимлет, обеспокоен своим. Проводил до дверей, подождал, пока взбегу по лестнице и махну рукой из окна площадки.

Через неделю уезжает в Индию, дней на десять. Вернется домой и сразу – в Венгрию.

8.11.81. Позвонил Сергей Павлович: *«Хочу увидеть Вас ещё раз до отъезда в Индию.»* После возвращения в Москву поедет в Венгрию. Дома будет 5–6 декабря: 6 декабря – день его рождения.

10.11.81. Сергей Павлович позвонил утром, поздравил меня с моим днём рождения.

7.12.81. Встретились после его возвращения из Венгрии. Рассказывал о своих впечатлениях. Я сообщила, что была на встрече с В. Беловым в МГУ (23 ноября): он мне не понравился. На вопрос из зала, как он относится к любви, В. Белов ответил: «В моём возрасте о любви уже не говорят. Никакой любви уже нет.» Вёл встречу Метченко, завкафедрой советской литературы МГУ. Косноязычен и гутнив, как персонаж Чехова.

– Да, я слышал. Да, узость взглядов (о Белове), современный вариант славянофильства (resp. русского национализма). А вопрос о любви – это разыгрывали Метченко, который недавно женился на студентке 21 года. Метченко лекций не читает, говорит плохо, только руководит аспирантами...

Числа 14-го С.П. поедет в Ригу, в январе – опять в Венгрию (выступление на телевидении совместно с венгерскими писателями), а в апреле – в Вену по линии ВААП.

Никаких материалов, связанных с личностью и творчеством С.П. Залыгина, в своём архиве за 1982–1986 гг. я не нашла. С января 1987 г. – только переписка.

Вот письмо от 6 января 1987:

Дорогая Адиле!

Конечно, я ничего не имею против работы, которую Вы затеваете вместе со своей аспиранткой.

Что касается диссертаций по моему творчеству, то их, наверно, 6 – 7. Три – четыре – (пять?) собственно о моих работах, и 2–3 таких, в которых присоединён и ещё кто-то из писателей или я присоединён к кому-то. Но я их не имею и толком не знаю. Знаю только, что языковых среди них не было. Подумать сведения о них нетрудно – надо запросить Ленинскую библиотеку, отдел диссертаций.

Если у Вас это почему-либо не получится, могу запросить и я.

Желаю Вам всего-всего доброго! Ваши С. Залыгин.

Самарканд. 1.05.1988. Дорогой Сергей Павлович!

В последние годы мне не удается встретиться с Вами. Да я и не делала настойчивых попыток к этому, зная, как Вы заняты, как всё необычайно осложнилось (перестроилось) в Вашей жизни. Кроме того, Вы ведь сами часто входите в мою жизнь, в жизнь всего нашего общества – с экрана телевизора, со страниц периодики и др. Но главное – я хотела прийти к Вам не просительницей (просителей никто не любит: «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. Особенно у тех, кто сильнее вас». М. Булгаков.), а на коне – защитившейся или, по крайней мере, допущенной к защите.

До сих пор это у меня не получается.

Работу над докторской я закончила летом 1987. В сентябре того же года обсуждалась на своей кафедре. И вот с тех пор не могу пристроить её к защите: попала в полосу реорганизации специализированных докторских советов.

Всегда Ваша – Адиле Эмирова.

Самарканд. 16.10.1989.

Дорогой Сергей Павлович!

Опять Вы удивили всех нас: придумали оригинальный жанр – роман в письмах с откликами («Кадровый вопрос» // ЛГ, 11 окт. 1989). Рассказ или роман в письмах, конечно, не новый жанр, но такой, как у Вас, – с откликами, – это, по-видимому, впервые в истории русской литературы.

Всё продолжаете экспериментировать, дорогой Мэтр! Не уставать и исполать Вам!

Что я особенно отметила в рассказе: острая, нет, – жгучая злободневность; Ваш острый глаз, выхвативший из сегодняшней жизни такие характерные социально-психологические типажи; мощный, беспощадный свет сатиры. Главное – все эти типы – индивидуальные, у каждого – свой голос, своя интонация, за которой я не слышу даже такой знакомой мне интонации самого Залыгина.

«Кадровый вопрос» – маленькое, но беспощадное зеркало, в котором эти типы увидят и узнают себя. Читая, я даже персонифицировала некоторых: такие типы есть и в моём окружении.

Я так была захвачена рассказом, что Вы даже приснились мне в тот же день. Это был хороший сон – в духе старого доброго времени. Вообще, Вы так часто – через ТВ – приходите в наши дома, что и не удивительно, если приснитесь кому-либо. Вы в каждом доме – свой, один из наших сегодняшних духовных наставников. И я бесконечно горжусь знакомством с Вами!

Доброго Вам здоровья! Всегда Ваша – Адиле.

Самарканд. 27.12.1989.

Дорогой Сергей Павлович!

Только что (3 часа ночи) дочитала «Архипелаг ГУЛАГ» (Новый мир, № 11),

где в главе 4 «Ссылка народов» нашла полстраницы (с. 165) о выселении крымских татар. Меня поразило совпадение образа-представления, использованного Солженицыным и мною в моём воспоминании «Ностальгия» – как выглядел Крым в день выселения татар 18 мая 1944: «Наверно, с воздуха, с высоких гор это выглядело величественно: заужжал моторами одновременно весь Крымский (только что освобожденный, апрель 1944) полуостров, и сотни змей-автоколонн поползли, поползли по его прямым и крученым дорогам.»

Когда я писала свои воспоминания, я видела всё это сверху, «с высоты вечного неба». Мои воспоминания как бы дополняют эту страницу Солженицына. Может быть, хотя бы в этом качестве – как отклик-дополнение – Вас заинтересует мой материал. Я написала его в августе этого года и отослала в «Дружбу народов». Зав. отделом публицистики ДН Холотов Б.В. ответил мне, что «это трогательное и хорошо написанное воспоминание», но напечатать его в 1990 г. едва ли смогут, и обещал поставить мой материал в очередь на публикацию. Но у меня сложилось впечатление, что его ответ – эвфемистическая отписка.

А может, Вы намерены продолжать тему Архипелага, печатая на него отклики? Может, в таком качестве мой материал заинтересовал бы Вас? На всякий случай, посылаю его Вам для ознакомления.

Вы знаете, я никогда не обращалась к Вам с такого рода просьбами. Но сегодня это очень злободневная, неотложная тема. Поэтому и прошу Вас о сочувствии ко мне и моему несчастному народу.

Хочу поделиться с Вами своей (предварительной, осторожной) радостью: 16 ноября я успешно защитила докторскую диссертацию по русской идиоматике.

С самыми добрыми чувствами – Адиле Эмирова.

19.1.1990. Дорогая Адиле! Рукопись Ваша трогательная, душевная, но – что поделаешь – использовать её мы в нашем журнале не сможем. Да я понимаю, что «Дружба народов» – тоже не сможет – всё-таки это не литература, а ведь журналы наши литературные.

Наверно, найдёте Вам этим ответом обиду, но иначе никак не получается. Искренне Ваш С. Залыгин.

Самарканд, 10.06.1990.

Дорогой Сергей Павлович!

Надеюсь, Вы разделите со мной мою радость: БАК СССР присудил мне учёную степень доктора филологических наук. Я первый доктор наук в области русской филологии из крымских татар. Но гораздо большее удовлетворение мне приносит мысль о том, что мне, крымской татарке, гонимой, униженной и оскорбленной, удалось сказать новое слово о русской идиоматике – самой интимной, сокровенной сфере русского языка. (Не считите это несерьёзностью: таково единодушное мнение моих официальных оппонентов, известных специалистов в области русской и общей фразеологии.)

Как всегда, с пристрастием слежу за Вашими публикациями и выступлениями. С нетерпением ожидаю № 4 «Нового мира». Очень огорчена свалившимися на журнал и на Вас бедами, но уверена, что скоро всё образуется.

Желаю Вам доброго здоровья и новых свершений в благородном деле служения Отчизне.

Всегда Ваша – Адиле.

10.7.1990. (На бланке ж. «Новый мир») Дорогая Адиле! Поздравляю от всей души! Хорошо бы Вы прислали мне автореферат Вашей диссертации! С глубоким уважением. С. Залыгин.

1.08.90 Дорогой Сергей Павлович! Была в Москве 7–28 июля. В первый же день позвонила в редакцию; секретарь ответила, что с понедельника Вы в отпуске и Вас не будет в Москве. Звонить же домой и беспокоить Вас перед отъездом я не осмелилась.

Благодарю от души за то, что нашли время откликнуться на моё письмо. Посылаю Вам мой АДД.

Уже получила № 4 НМ. Читаю его, как всегда, от корки до корки. Восхищаюсь Вашими упорством, энергией, преодолевшими трудности, которые стояли перед журналом, и подарившими читателям, почти вовремя, очередной номер.

Желаю вам доброго здоровья и новых свершений на благо нашей Родины.
С благодарностью и любовью – Ваша Адиле.

Далее был мой переезд в Крым (декабрь 1990), похороны отца, распад СССР, галопирующая инфляция, полунищенское существование и т. п. В Москву перестала ездить, и связь с Сергеем Павловичем оборвалась. О его кончине ничего не знала до последнего времени. Хотя ЛГ выписываю и читаю постоянно (с 1950 г.), но и там такой информации не видела.

Бесконечно благодарна Сергею Павловичу Залыгину за внимание и дружеское расположение, которые укрепляли мой дух, моё чувство собственного достоинства и тем самым помогали мне переносить тяготы моей тогдашней жизни. И пусть мое чувство к нему – это *Liebe ein Traum* (так названо немецкое издание романа «Ожноамериканский вариант» – Мюнхен, 1977), но это всё же *die Liebe* – оригинальное, уникальное творение моего ума и моей души, занимавшее и занимающее до сих пор одну из ключевых позиций в духовном пространстве моего бытия.

Заканчивая эти воспоминания, я поднимаю глаза на самую верхнюю книжную полку – над моим письменным столом – и вижу ряд его книг. Все они – с дарственными надписями. Он здесь всегда. И я молча плачу, как будто стою у его могилы...

Мир праху его!

Симферополь, 19 февраля 2006.

УКРАИНА

Первые воспоминания об Украине у меня связаны с днями депортации: эшелон, в котором нас, крымских татар, в мае 1944 года везли в ссылку, медленно шёл мимо огромных терриконов. За ними разворачивались поля, на которых тут и там работали группы людей. Мы, дети, сидели у открытых дверей. И когда проезжали мимо работающих, кто-то из нас приветственно поднял руку. А они в ответ с хмурыми лицами помахали нам кулаками и лопатами и прокричали вслед что-то недоброе.

Как и все преподаватели вузов в советское время, я была активным членом общества «Знание». Уж не знаю, по какой причине, но Правление всесоюзного общества «Знание», находившееся в Москве, довольно часто командировало меня читать лекции – из Самарканда на Украину. Так в 70–80-х годах я побывала в Ужгороде, Полтаве, Черкассах, Львове. У меня были две дежурные темы: «Русский язык как средство межнационального общения» и «Культура речи агитатора-пропагандиста». Из этих поездок запомнились несколько эпизодов.

В Ужгород из Москвы я ехала с группой лекторов-москвичей в спальном вагоне. На железнодорожной станции Чоп нас встретили и отвезли в комфортабельную обкомовскую гостиницу. Огромный конференц-зал обкома партии был полон. Конференция была посвящена проблеме межнациональных отношений в СССР. И вот заведующий соответствующим отделом Ужгородского обкома открыл конференцию на украинском языке. Следующий выступающий тоже стал говорить на украинском языке. И тут встал со своего места в президиум важный московский гость и резко бросил в зал: *Мы говорим о межнациональных отношениях в нашей стране, поэтому следует выступать на языке межнационального общения – русском.* Далее уже никто не осмелился говорить на украинском языке.

В своём докладе я говорила о русском языке как средстве межнационального общения, при этом апеллировала к авторитету В.И. Ленина, который в свое время писал, что русский язык нельзя насаждать из-под палки. И хотя это противоречило только что прозвучавшей установке московского партийного функционера, никто не обратил на это внимания.

На следующий день нас, гостей, возили по городу в машине самого председателя Ужгородского обкома коммунистической партии. Повезли и на пограничный мост между Украиной, Венгрией и Румынией. Мне разрешили одной ногой «перейти» границу: я так и стояла – одна нога на нашей территории моста, другая – за границей. Тогда я и представить не могла, что наступит время, когда я буду выезжать в страны дальнего зарубежья – Германию, Турцию, Австрию, Японию, США, Францию.

На обратном пути из Ужгорода до Чопы нас тоже везли в обкомовской машине. И тогда я впервые по радио услышала грустную песню в исполнении Аллы Пугачёвой с припевом: *Этим летом я встретилась с печалью, а любовь прошла стороной.* Тогда у певицы была совсем другая манера исполнения – не нынешняя разухабисто-удалая, а нежно-женственная, проникновенная, мягкая.

До сих пор храню деревянную резную лакированную шкатулку с надписью «Львів», которую мне подарили после выступления во Львове. Там же, но уже на другом предприятии, мне подарили украинский *рушник* – полотенце с традиционным красно-чёрного цвета национальным орнаментом на белом фоне.

Запомнилась также конференция агитаторов и пропагандистов в г. Черкассах. Это было в конце 70-х годов. Выступил мой московский коллега, профессор столичного вуза, специалист в области межнациональных отношений в СССР. Из зала ему стали задавать вопросы, в том числе такой: *Вот известно, что в последнее время активизировалось национальное движение некогда депортированных крымских татар. Как Вы считаете, могут ли они вернуться в Крым?* И профессор ответил: *Нет, этого не случится, потому что крымские татары уже давно укоренились в Узбекистане, а в Крыму другая инфраструктура, для них там нет рабочих мест, и поэтому государство им этого не позволит.*

Я с горечью проглотила и эту обиду, потому что знала, что мне не позволят встать и крикнуть в зал: *Я – крымская татарка! Мне больно это слышать! Это несправедливо! Я не согласна! Я хочу на родину! Я до сих пор тоскую по ней и вижу её во сне! Верните мне родину!*

Тогда я ещё не знала, что пятнадцать лет назад это прокричал за меня поэт Борис Чичибабин:

*Не удержать водою воду,
не загасить огня огнем, –
верните родину народу,
его душа осталась в нем!* [«Чёрное пятно»]

Тогда я не знала, что еще в 1961 году. Поэт звал нас, крымских татар:

*Шел, где паслись отары,
Желтую пыль топтал.
«Где же вы, – кричал, – татары?»
Нет никаких татар...
Родина оптом, так сказать,
Отнята и подарена, –
И на земле татарской
Ни одного татарина.* [«Крымские прогулки»]

Тогда я не знала, что ещё в 1972 году Поэт восклицал:

Тогда я ещё не знала, что в 1987 году, когда журнал «Новый мир» собрался напечатать подборку стихов Поэта, в том числе и «Судакские элегии», и журналистка И. Роднянская попросила Б.Чичибабина изменить эту строку, он написал ей так: *«Без татар Крым – не Крым, ненастоящий Крым, не тот Крым, который видел, и который описал, и в какой на всю жизнь влюбился Пушкин, который видели и любили Толстой и Чехов, Ахматова и Цветаева, Паустовский, Пришвин, Сергеев-Ценский; это какой-то искусственный, экзотический, специально для курортников и туристов придуманный и сделанный заповедник... Они (татары) были исконным местным населением этой земли, они были народом, пустившим корни в эту землю, обжившим ее, одухотворившим ее названиями гор, поселков, мифологией, памятью, верой, мечтой, они стали и были душой Крыма. И когда эту душу искусственно изъяли из тела и тело осталось без живой души, но с какой-то тенью ее, с каким-то кровотокающим следом ее, с памятью о ней, – татар нет, а татарские названия остались, – это не только трагично, грустно, страшно, но в этом есть что-то неподлинное, притворяющееся, неестественное, стыдное, непристойное.»* [Из архива Б.Чичибабина.]

Тогда я и не догадывалась, что через десять лет (1990) вернусь наконец в Крым, что буду переживать вместе со всеми трудные 90-ые годы (развал СССР – галопирующая инфляция – купоны – карбованцы – новые «миллионеры» – бандитизм – «прихватизация» – коррупция и пр.), что познакомлюсь со вдовой Б. Чичибабина, Л.С. Карась-Чичибабиной, что буду руководить заседаниями Первого и Второго международных Чичибабинских чтений в Крыму, что буду писать статьи о его творчестве.

Тогда, в далёкие 70-ые годы, я и думать не могла, что наступит такой час, когда всё вернётся на круги своя и я напишу такие строки:

...и возвращается ветер
на круги своя
[Екклесиаст, 1, 6]

Всё вернулось на круги своя,
Хоть казалось – навечно, навечно
Изгоняли. Но жизнь быстротечна –
Я вернулась в родные края.

Я вернулось. И снова, как прежде,
Пряно пахнет сосновый лес,
И бездонное око небес
Озаряет лучами надежды.

И сбылись все мои мечты!
Даже камни твои мне мýлы!
Я целую родные могилы –
Это ты, моя родина, ты!

Никогда, никогда, никогда,
Никогда я тебя не покину!
А Аллах позовёт – всё отрину
И останусь с тобой навсегда.

РОДИНА

Рождение и смерть – две золотые точки,
А между ними жизнь – упругая струна.
И я иду по ней, мне тяжело, нет мочи,
Но я иду, тревог и радостей полна.

Как долго я жила с родиной в разлуке!
Как долго я ждала её вестей благих!
И вот вернулась я, и кончились все муки.
О Родина моя! Я здесь, у ног твоих!

И не нужны теперь мне все блаженства рая.
Прижми к своей груди, утешь и успокой!
Блажен, кто родился в чудесном этом крае, –
Блажен, кто здесь найдёт последний свой покой!

Благодарю Создателя за то, что я дожила до этих дней!

* * *

НА РОДИНУ!

Август 1990 года. Через полгода отцу исполнится 95 лет. Он относительно здоров, бодр: ходит по квартире, может обслужить себя и даже помогает мне при приготовлении пищи. Вот только зрение у него плохое – катаракта. Уже прооперировали оба глаза, но лучше не стало.

– Дочка, – говорит он мне часто в последнее время, – давай уедем в Крым. Ведь теперь можно, многие татары уже уехали. Я не хочу здесь больше оставаться. Я хочу умереть на родине. Сделай же что-нибудь!

А что я могу сделать? Уже начались занятия в Самаркандском университете, где я работаю. Как я могу оставить работу в середине учебного года? Но отец с каждым днём становится всё тревожнее. Всё чаще заводит разговор о Крыме. И я поняла, что надо торопиться.

Стала спешно готовиться к отъезду. Сначала созвонилась с ректором Симферопольского государственного университета, и он пригласил меня на работу, но жилья не обещал. Потом позвонила Юрию Османову, председателю комитета по делам депортированных народов при Симферопольском облисполкоме, представилась ему и объяснила ситуацию. Он ответил так: *«Я и не знал, что у нас есть женщина-профессор. Конечно, приезжайте – мы Вас будем носить на руках!»*

Я собрала самую необходимую одежду, взяла отца под руку, и мы поехали в аэропорт. В Симферополь летели на самолёте ТУ–154. Оказалось, что почти все пассажиры были крымские татары, возвращающиеся на родину. Со всех сторон слышалась татарская речь. Отец был удивительно бодр, оживлен. В течение трехчасового полёта он несколько раз очень громко читал молитвы, весь салон подхватывал священные слова. Все поднимали руки и просили Аллаха благополучного свидания с родной землей. *Аминь! Аминь! Аминь!* – раздавалось со всех сторон.

Когда самолёт приземлился, отцу помогли сойти с трапа. Ступив на землю, он отошёл в сторону, с трудом наклонился, прижал ладонь к земле, а потом поднес руку к губам и поцеловал тыльную сторону ладони.

– Что ты делаешь, папа?

– Целую родную землю.

Это был декабрь 1990 года.

Нас встретили родственники, которые жили в поселке Зуя. Сама я жила в общежитии Симферопольского института усовершенствования учителей, куда помог мне вселиться Сейран Усеинов. Зима того года была холодной, поэтому мы решили, что до весны отец будет жить у родственников. Я часто навещала его. И он всегда говорил мне: «Я хочу жить с тобой. Дочка, ты же профессор, почему тебе не дают квартиры?»

Отец прожил в доме родственников около двух месяцев. Простудился и через четыре дня скончался. (Аллах рахмет эйлесин!) В ночь его кончины я была рядом и сама закрыла ему глаза. Он не успел увидеть ни родного села Янджу, ни Ялты, где мы жили до депортации. Меня до сих пор мучает мысль, что я не смогла в последние его дни создать ему нормальных условий для жизни. Сама я ещё шесть лет жила в разных общежитиях в ожидании обещанного жилья.

Похоронен отец в Зуе, на мусульманском кладбище, которое находится рядом с русскими захоронениями. Через пять лет русские подростки разрушили около десяти надмогильных памятников на татарском кладбище. Узнав об этом из газет и телепередач, я сразу же поехала в Зую. Слава Аллаху, отцова могила не пострадала, хотя на соседних надмогильные камни были разбиты.

ПОД НЕБОМ ГЕРМАНИИ

1993 год. Я в маленьком немецком городке Альзену (Alzenau) близ Франкфурта-на Майне. Призывно звучит колокол кирки – настойчиво призывает прихожан на воскресную службу.

Покойные родители мои были мусульманского вероисповедания. И я считаю себя мусульманкой. Но, бывая в разных странах, стараюсь посещать храмы и кладбища, смотреть и слушать богослужения. Мною движет не просто любознательность. Это как зов вечности. Это таинство приобщения к вечной череде сменяющихся поколений.

Иду в кирку. Ряды скамей, как в кинотеатре. Людей много, человек 80–100. Все приходят со своими молитвенниками, открывают их, следят глазами за текстом, который читает священник. Иногда произносят вслух слова и формулы из священного Писания. Я улавливаю лишь отдельные слова: *Lieber Gott, der Geist, das Licht, immer mit uns, vergebe uns, amen...* Но мне кажется, что я всё понимаю, потому что это слова Добра и Божьей Благодати.

Звучит орган. Все поют. Служба окончена. Между рядами проходит служба и собирает подаяние. Я тоже кладу в сосуд металлическую дойчку. Многие подходят к священнику, и он кладет что-то им в рот. Мне издалека не видно, что это такое. Наверно, облатка – ритуальная съедобная полоска. Вот два подростка подходят к священнику. Одного из них я знаю: это сын Артура и Магды, моих знакомых. (Позже я спросила Магду, с охотой ли мальчик ходит в кирку. «Нет, конечно, – ответила она. – Но мы настаиваем.»)

Глядя на мальчика, я подумала, что он счастливый. Пройдет много лет, он станет взрослым и, может, перестанет ходить в кирку. Но всегда, проходя мимо неё, он будет ощущать вкус той облатки, которую крал ему в рот священник. Сейчас он просто не понимает того, что в него закладываются дорогие воспоминания, которые будут сопровождать его всю жизнь. И может, это будет последнее, что он вспомнить, уходя из жизни.

Я выхожу вместе со всеми. Во дворе кирки – кладбище. Все могилы тщательно ухожены: у изголовья – мраморная плита с именем усопшего, рядом фонарик с теплящейся свечкой. Остальное пространство могилы заполнено цветами. Это очень искусные композиции, составленные из цветов разного колера и формы. Ни одна могила не повторяет другую. Каждая из них – произведение особого искусства – искусства декорирования могил. Здесь – культ могил.

Медленно иду по дорожкам. Читаю надписи, соотношу даты рождения и смерти. К некоторым могилам подходят люди, выходящие из храма, что-то поправляют на них, поливают цветы. Вот две маленькие девочки носят лейками воду и поливают цветы. Эти новые зелёные лейки аккуратно висят на специальной ажурной вешалке. Рядом кран и заполненная водой ёмкость. Здесь всё продумано. Всё ухожено. Чисто. Красиво. Как в ботаническом саду. Наверно, приходящие сюда настраиваются на торжественный лад, в котором нет отчаяния и скорби, а только мысли о неизбежности ухода из этой жизни. Ухода как Благодати.

Наконец все расходятся. Я остаюсь одна. Долго сижу на ступенях. Что-то держит меня здесь. В душе нет покоя и умиротворения. Наоборот, растёт чувство боли. Она переполняет мое сердце и начинает выливаться из глаз. Я поднимаю глаза, полные слёз, к небу: сегодня оно серое, невыразительное, как в том маленьком среднеазиатском городе Беговат, в котором похоронена моя мать. Мысленно взмываю вверх и лечу туда, на восток, оставляя далеко внизу и позади себя этот немецкий городок, потом – реки Майн, Вислу, Днепр, Волгу, нахожу Аральское море, выхожу на реку Сыр-Дарью и опускаюсь на её берегу – на кладбище узбекского города Беговат.

Боже, какое оно запущенное! Всё заросло травой; она пожухла, пожелтела: больше 40 градусов жары, нигде нет воды. Палящее солнце и белёсое небо над головой. Между могилами нет дорожек. С трудом пробираться. Ноги мои исцарапаны до колен. В туфли набралась земля. Вот здесь татарские могилы. Многих из них давно не касалась рука человека. Надмогильные камни разваливаются. Краска на них выгорела и осыпалась. Трудно разобрать имена. Я долго ишу могилу матери. Мое сердце разрывается от боли. Я плачу и кричу: *Мама! Где же ты? Мамочка, отзовись! Мамочка, прости меня!*

Давно я не была на этом кладбище. Я вернулась в Крым в конце 1990 года. Многие крымские татары уже возвратились на родину. Но в узбекской земле осталось два поколения крымских татар. За их могилами некому ухаживать, и они скоро сровняются с землей. Так случилось и в Крыму, откуда нас выселили в 1944 году. Все татарские кладбища были порушены, а надмогильные камни использованы на всякие хозяйственные нужды. В кладке каменного забора напротив нашего дома в Ялте до сих пор виден фрагмент такого камня с арабскими письменами.

Смотрю на серое небо Германии и плачу. Моя боль – боль крымской татарки, изгнанной из своей родины и прожившей полвека на чужбине, всегда и везде со мной. Она, эта боль, неизбывна. Она просыпается во мне не только в трагические моменты, но и в условиях покоя и благоденствия. По закону контрастной ассоциации. Как сегодня, например.

Эта боль умрёт только вместе со мной.

ОДЕЖДА КАК ЗНАК ВРЕМЕНИ

Человек живёт в мире знаков. От первого дня и до последнего его сопровождают разнообразие системы знаков, которые информируют его об окружающем мире, естественном (природа) и искусственном (общество), сигнализируют об опасности, помогают ему жить и, наконец, доставляют эстетическое наслаждение.

Все предметы, созданные человеком, кроме утилитарных, прагматических функций, могут выполнять и функции знаков, замещающих другие предметы, явления, их признаки, действия и отвлеченные понятия. Вот пример: я люблю есть суп из глубокой фаянсовой тарелки, украшенной синими восточными узорами на белом фоне; её мне подарили в Японии, и я провезла её через полсвета. Она для меня комплексный, сложный знак Японии, и когда я беру её в руки, в моём сознании и подсознании активизируются знакомые мне образы Японии. Потому и пища находящаяся в этой тарелке, как бы имеет другой вкус.

Новое время – новые песни. Верна и аналогия: новое время – новая одежда, новая обувь. Разные культуры в разные исторические периоды характеризуются своеобразными формами того, чем человек прикрывает наготу свою, – одежды, головных уборов и обуви, которые выполняют знаковую функцию: различает представителей разных социальных слоёв и групп. Очень характерный пример – *санкюлот* (< фр. *sans-culottes*, буквально – без коротких штанов), так насмешливо называли патриотов периода Великой французской революции, представителей городской бедноты, которые в отличие от дворян не носили коротких штанов из дорогой ткани (*кюлот*). Ср. также русское *голодранец* – представитель низших слоёв общества, бедняк, нищий; аналогично по значению крымскотатарское *чыпчак бадсак*, буквально – голые ноги, босоногий.

Даже в рамках одной культуры, в пределах жизни одного человека одежда, головные уборы и обувь являются знаками его социального статуса: возраста, положения, профессии, хобби и др.

Здесь я хочу рассказать о некоторых предметах одежды и её аксессуарах (головные уборы, обувь и пр.), которые носила я с детских лет и которые являются не только показателями материального положения и социального статуса моей семьи, но и знаками соответствующего времени. В этом предметном ряду причудливым образом отразилось моё время, фактически – весь 20-й и начало 21-го веков. Описание этих предметов будет разворачиваться на фоне событий моей жизни.

Итак, гардероб (одежда, головные уборы и обувь) как ещё один «вход» в мою жизнь.

Самое первое платье, которое мне запомнилось, это простая *татьянка*, сшитая мамой из купона. Мне было лет пять-шесть, когда мама купила отрез купона. Купон – это ткань, на которой были нарисованы части одежды: лиф, рукава, юбка. Маме оставалось только аккуратно вырезать все детали и соединить их друг с другом в нужной последовательности. Моё купонное платье было покрыто синими цветами на белом фоне. И запомнилось оно мне не случайно: отец Аллы, моей подруги из соседнего дома, был художником. Как-то он посадил меня на стул и нарисовал мой портрет: сероглазая темноволосая девочка с густой чёлкой и торчащей на самой макушке прядью волос, в купонном сине-белом платье, сосредоточенно и строго смотрит прямо в глаза художника. Возможно, отец Аллы, фамилии которой я не помню, был или позже стал известным крымским художником. Возможно, этот портрет пылится до сих пор в запасниках какого-нибудь музея в Ялте.

Ау, Алла, отзовись! Это были довоенные годы. Мы жили на улице Амбулаторной, в деревне Дерекой, фактически – в пригороде Ялты. Вы жили на втором этаже соседнего здания амбулатории: скорее всего, твоя мама была врачом. Ты, Алла, как-то бросила в меня камень и в кровь разбила висок. Шрам остался на всю жизнь.

Следующее, что мне запомнилось, это платье из розово-белого в клеточку домотканого ситца, которое мама сшила на второе лето после депортации. Мы жили тогда в совхозе Дальверзин № 2 Беговатского района Ташкентской области. В первую холодную и голодную зиму мы чудом остались живы. Но вот наконец наступила весна, за ней – жаркое лето, и тут выяснилось, что у нас нет никакой одежды и обуви, потому что в день депортации крымских татар мы вышли из дома только с маленькими узлами в руках. К тому же на руках у мамы была младшая сестра, которой не было и трёх лет. (См. фрагмент «Депортация».)

Магазинов в совхозе не было. Всё необходимое покупали на Джума-базаре, который находился в 5–6 км. от нашего совхоза. Там мама купила ситец, который ткали узбеки на старинных домашних станках. Там же она купила нам с сестрой туфли с простроченным трипичным верхом и подошвой из обычной автомобильной шины. Такие туфли шили и продавали корейцы, которые были депортированы с Дальнего Востока в Среднюю Азию за несколько лет до крымских татар – в 1937 г. Корейцы были первым репрессированным сталинским режимом народом. За прошедшие семь лет они как-то приспособились к жизни на новых местах и жили более или менее благополучно, по крайней мере – не голодали. До сих пор перед моими глазами стоит образ подруги моей сестры корейки Тани в «золотом» платье – из жёлтого подкладочного атласа, которая запомнилась мне и тем, что как-то

пригласила нас к себе домой и угостила рисовой кашей, сваренной на цельном молоке (у них была корова).

В 1946 г. наша семья перебралась в г.Беговат (ныне – Бекабад). Было у меня ситцевое платье, а в холодное время года, вместо пальто, я надевала ватник. Он был шит по тогдашней моде: прострочен продольными швами, с хлястиком и карманами. На голове – полушерстяной платок. На ногах – бурки – простроченные ватные сапожки с галошами. Так одевались почти все дети и взрослые.

Тогда же я подружилась с Галей Куниной, отец которой работал в Фархадтрансе. Как-то Галя появилась в платье из розового крепдешина: по бёдрам – буфы, рукава-фонарик, плотный пояс. Пришлось маме и мне шить такое же платье.

Первое пальто из грубой полушерстяной колочей ткани с воротником из искусственного меха мне купили, когда я перешла в 10-ый класс. В нём же я ходила и первые два года учёбы в университете (г. Самарканд). И только на третьем курсе родители смогли дать мне денег для пошива нового пальто из настоящего драпа, с каракулевым воротником. Тогда в моде были довольно дорогие полуботинки, отороченные мехом, их называли румынками. Но у меня не было денег на их покупку, поэтому зимой я обычно ходила в туфлях.

Помню и собственноручно шитое ситцевое платье (мелкий геометрический рисунок жёлто-голубого цвета), за которое я получила 2-ой приз на университетском ситцевом балу; такие балы устраивались в те годы для рекламы ситцевых тканей. (См. фрагмент «Университет».)

На свою первую учительскую зарплату после окончания университета я купила модный китайский габардиновый плащ бежевого цвета, с клетчатой подкладкой и капюшоном. Именно тогда, в конце 50-х годов, наладилась дружба между СССР и КНР, и в магазинах появились китайские товары. В первый же день с этим плащом случилась почти трагическая история: я обила всю правую полу чернилами. Тем он и запомнился. (См. фрагмент «Опять Дальверзин № 2».)

Укреплялись политические и торгово-экономические связи со странами социалистического лагеря. В магазинах стали появляться товары из Венгрии, Чехословакии, Польши, Германии и др. В 1959 г. (я жила тогда в г. Янги-Ере, см. главу «Голодная степь») я приобрела демисезонное чешское пальто, черного цвета, расклешённое, с большими накладными карманами и крупными пуговицами. С ним тоже случился казус, скорее комичный, чем трагичный. В те годы молочные продукты в магазинах продавались в пол-литровых тяжелых стеклянных бутылках, прикрытых тонкой крышкой из алюминиевой фольги. Молочные товары подвозили не каждый день и только в определённые часы, поэтому я покупала сразу 5–7 бутылок. И вот, отстояв очередь, я расплатилась и стала загружать бутылки в сетку-авоску. И тут крышка одной из бутылок зацепилась за сетку, и вся сметана пролилась в правый карман моего нового пальто. Так и пошла домой. А потом мучительно долго вручную очищала свое пальто: никакой химчистки в нашем городке не было.

А во второй самаркандский период моей жизни (1965 –1990 гг.) всю одежду с аксессуарами я покупала обычно в других городах, куда ездила на научные конференции: в Москве, Ленинграде, Кишинёве и др. Так у меня появились плащ с отстёгивающимся капюшоном из ткани *болонья*, непромокаемой и жёсткой на ошупь; далее – пальто из темно-синего джерси, шерстяного трикотажа на поролоне; позже – чешский тёмно-серый плащ с подкладкой из искусственного меха. До сих пор ношу серого цвета плащ-пыльник шведского производства, купленный за 500 рублей (очень высокая цена, почти две моих зарплаты) в московском ЦУМе. Это был «писк» моды: длина почти до щиколоток (а тогда носили до колен), свободный покрой, широкий ремень из настоящей кожи с огромной и тяжёлой блестящей металлической пряжкой. Их «выбросили», как тогда говорили, совсем неожиданно, но мгновенно сформировалась огромная очередь. Я терпеливо стояла, и когда подошла моя очередь, осталось всего несколько плащей не моего размера, и мне пришлось взять плащ на размер больше. С тех пор прошло более двадцати лет, а плащ мой цел и вроде соответствует современной моде.

Как долго живут вещи – как коротка жизнь человека!

Первую шляпу из черного фетра я приобрела в середине 60-х годов, до этого зимой повязывалась шерстяными платками небольшого размера. Позже были приобретены две меховые шапки: одна – из черного каракуля с оторочкой из голубой норки, другая – из лисьих хвостов, в которой впервые увидел меня С.П. Залыгин у колонн Большого театра в 1976 г. А в 1977 г., отстояв многочасовую очередь в магазине на Ленинском проспекте Москвы, купила пушистую лисью шапку, похожую на кавказскую папаху; такую носила Елена Тарасова, тренер Ирины Родниной, чемпиона по фигурному катанию. И, наконец, последнюю шапку из голубой норки, которая «жива» до сих пор, только чуть потрачена молюю, я купила в магазине «Белград» в Москве в 1987 г. после многочасового и унижительного стояния в очереди. (См. фрагмент «Дефицит как феномен советского бытия»). Всё это были добротные вещи, не очень дешёвые, свидетельствовавшие о среднем достатке носившего их человека. К этому времени я уже была кандидатом наук, доцентом с зарплатой 320 руб.

В 1987 г. я во второй раз (первый – в 1977) поехала на четырехмесячную стажировку в МГУ. И однажды случайно попала в магазин-салон Вячеслава Зайцева, известного советского модельера, на проспекте Мира. В это время там как раз меняли экспозиции готовых образцов одежды: снимали с манекенов одежду и заменяли её новыми моделями. Снятые образцы тотчас шли в продажу. Я взяла из рук работницы моднейшее чёрное пальто из шерстяной ткани: широкие и жёсткие накладные плечи, воротник-апах, на спине – встречные складки и хлястик, но главное – длина почти до щиколоток. А стандартная мода диктовала тогда длину одежды, в том числе и пальто, до середины икр. Я зашла в примерочную, надела это долгополое чудо и долго вертелась перед зеркалом: мне был непривычен такой силуэт. Наконец решилась и хорошо сделала: с удовольствием носила около семи лет, всегда была в расуле моды и чувствовала себя современно экипированной и потому уверенной. Чёрное пальто (от Зайцева), потраченное молюю, до сих пор висит в платяном шкафу как знак времени и определённого отрезка моей жизни. Пусть ещё повисит! Как говорится, хлеба не просит.

Наступили 90-е годы: развал Советского Союза, галопирующая инфляция, смешные зарплаты, сначала – в купонах, потом – в карбованцах, когда мы все неожиданно стали нищими «миллионерами», потом – гривны, которые мы долго автоматически называли рублями. Лет пять-шесть я не могла купить ничего из одежды и обуви: с трудом хватало на скромную еду.

К середине 80-х годов женщины стали активно осваивать мужской гардероб, прежде всего – брюки. Я долго не решалась их надеть. Первые брюки купила в Японии в 1997 году и ношу их до сих пор, хотя это мужские брюки из пёстрой искусственной ткани. Потом в моём гардеробе появились белые брюки, которые я купила в Чикаго летом 2000 года за 40 долларов, затем – немецкие чёрные шерстяные, купленные за 120 долларов (!) в Москве на Ленинских Горах в 2002 году. Последние пять-шесть лет, зимой и летом, я хожу только в брюках: мне в них удобно, а зимой – тепло. Кроме того, брюки выполняют и эстетическую функцию: скрывают варикозные вены, которые с возрастом становятся всё хуже. Как говорится, нет хуже дела добра. Не думаю, что когда-нибудь я вернусь к платью и юбкам: пожилой возраст требует добротной и удобной функциональной одежды.

Сегодня, мысленно окидывая взглядом свой гардероб, я вижу за этим предметным рядом не только различные этапы моей жизни, но и жизни всего общества: социализм довоенного образца – война – депортация и ссылка – восстановление разрушенного войной народного хозяйства – зрелый социализм с его постоянным дефицитом – развал СССР – репатриация – независимая Украина.

Смуглая темноволосая сероглазая девочка в купонном платье – подросток в ватнике и бурках – девушка в ситцевом платье – женщина средних лет в модной одежде производства социалистических стран – и наконец, пожилая женщина в брючных костюмах. И это всё я? А может, на каждом этапе жизни – это совсем другой человек? Если душа человека – это накопленный им жизненный опыт, то можно полагать, что в разные периоды жизни –

это другая личность. И только некоторые внешние черты и манера поведения – улыбка, привычка щурить глаза, поднимать плечо и др. – могут связывать воедино разных людей, носящих одно и то же имя. Впрочем, имя тоже люди с лёгкостью меняют.

Только память о своём прошлом, об истории своего рода и народа, к которому человек относит себя, является той нитью, которая связывает таких разных людей в одну личность. И где бы я ни была, какую бы одежду ни носила, я никогда не забывала и не забываю, что я крымская татарка, пережившая трагедию депортации и тяготы репатриации; я крымская татарка, в жилах которой смешалась кровь разных племён и народов, исторически живших на Крымском полуострове, – тавров, хазар, половцев, греков, готов, алан, татар...

Весь плотью и кровью своей я связана с этой землей. И нет во всём мире для меня дороже земли, чем эта, которая зовётся коротким именем – Крым.

МОЁ ИМЯ

Как назвать новорожденного ребёнка? Этот вопрос всегда волнует родителей. У крымских татар принято давать детям имена бабушек и дедушек. Мою старшую сестру назвали *Эмине* – по имени матери моего отца. Младшую, родившуюся через 8 лет после меня, назвали именем бабушки по материнской линии – *Алиме*. Меня же назвали *Адиле* (с ударением на последнем слоге: так произносятся все крымскотатарские имена). Почему? Когда я позже спросила об этом маму, она ответила, что в те годы вошло в моду называть девочек звучным именем *Адиле*, которое отцу моему очень понравилось, и потому они отступили от традиционных принципов наречения.

Крымскотатарские имена почти все восходят к арабскому языку, и это связано с исламом: арабский язык – язык Священной Книги – Корана. *Адиле* – это женский коррелят мужского арабского имени *Адил* (по-крымскотатарски – *Адилъ*) со значением 'справедливый'. Мне нравится этимология (буквальное значение) моего имени, и я всегда соизмеряла и соизмеряю свои поступки с этой моральной категорией – справедливость.

Уменьшительно-ласкательные, звательные и официальные формы моего имени довольно разнообразны: они менялись в зависимости от моего возраста, места жительства, рода деятельности, социального статуса и характера отношений с окружающими. Выстроился вот такой ряд именных форм: *Адиле*, *Агле*, *Адик*, *Ада*, *Адлешка*, *Адэль*, *Адиле апте*, *Адиле ханым* (*ханум*), *Адиле оджа* и др. Ниже – краткие этюды о формах моего имени, в которых отразились факты и события моей жизни и соответственно в той или иной степени – жизни моего народа.

Каноническая (правильная) форма моего имени, как уже написано выше, – *Адиле*, с ударением на последнем слоге. Однако в разговорной крымскотатарской речи действует фонетический закон редукции, т.е. изменения качества и количества безударного гласного звука, который может совсем опускаться: *Адиле* → *Агле*, *Эмине* → *Эме*, *Алиме* → *Алье*, *Велишиа* → *Вельшиа* и т.п. Так произносили и произносят в неофициальной обстановке подобные крымскотатарские имена.

Адик – так называл меня в детстве мой отец: они с мамой надеялись, что следующий ребёнок будет мальчиком, но опять родилась девочка. С малых лет, однако, я не любила играть в куклы, даже не помню, чтобы они у меня вообще были, – играла только в мальчишеские игры: крутила юлу, била лягу, играла в колышки, стреляла из рогатки, сама мастерила лук со стрелами. По моей страстной просьбе двюродной брат из Ай-Василия вырезал мне деревянный пистолет, который стрелял кусочками алюминиевой проволоки.

Когда я пошла в детский сад, у меня появилось новое имя – *Ада*, которое прочно приклеилось ко мне вплоть до окончания университета. Именно это имя, а также имя *Эмма* – так называли подруги мою старшую сестру Эмине – и нашу фамилию *Эмирова* мы с сестрой написали химическим карандашом на раме нашего дома в Ялте. Когда мой отец в начале шестидесятых, перед выходом на пенсию, приехал в Ялту для восстановления своего

трудового стажа, он зашёл и в наш дом. Хозяйка, Елена Ивановна Шведко, встретила его очень приветливо, пригласила в дом, сказав, что она знает его фамилию и имена его детей: сделанные нами записи, оказывается, сохранились на оконной раме вплоть до конца сороковых годов. Значит, прошло уже несколько лет после депортации крымских татар. Мы жили в далёком Узбекистане, а наши имена всё ещё синели на деревянной раме, пока Елена Ивановна не надумала её покрасить. Но она их запомнила. И когда я приехала в Ялту в начале 90-х годов, она встретила меня так же приветливо, как и моего отца много лет назад.

Близкие родственники и соседки-татарки в детстве называли меня *Аделе* и *Аделишка*. Под влиянием русского языка уменьшительно-ласкательные русские суффиксы *-чка*, *-шка*, *-шечка*, *-ик* и др. уже в довоенный период, но особенно после депортации стали активно присоединяться к крымскотатарским собственным и даже нарицательным именам. И сегодня в крымскотатарской речи постоянно встречаются такие формы: *Айшечка*, *Алимешка*, *Нарик*, *Рустик*, *анайка*, *анаика*, *бабаика*, *тизеика* и т.п.

В студенческие годы я, как и в школе, звалась *Адой*, но как-то на занятиях по русской литературе преподаватель прочёл среди прочих стихотворение А.С. Пушкина «Адели»:

Играй, Адель,
Не знай печали,
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали. <....>

С того дня я стала *Аделью*. Иногда к этому имени добавляли оценочное прозвище *наука*: *Адель-наука* – так говорили сокурсники, когда хотели подчеркнуть моё серьёзное отношение к учёбе, мою склонность к научной работе. Вузовская подруга Тамара Каплинская, которую в прошлом году я нашла в Израиле, во время наших телефонных разговоров только так и называет меня – *Адель*.

В моём паспорте отчество отсутствует. Однако в моём дипломе доктора филологических наук, аттестате профессора и прочих документах, связанных с научной деятельностью, написано отчество – *Мемедовна*. Почему *Мемедовна*, а не *Меметовна*, как чаще проносят крымские татары? Я, как филолог, специально выбрала такую форму, чтобы не очень искажать имя пророка Мухаммеда, стяжённой (сокращённой) формой которого являются крымскотатарские имена *Мемет*, *Мемедя*, *Мемедин*, *Мемедзин*. Как видно из примеров, в крымскотатарском языке были и есть произношение и написание этого имени через *Д*.

После моего возвращения в Крым (декабрь 1990 г.) и активизации общения с земляками появились новые звательные формы моего имени: в определенных ситуациях к моему личному имени стали прибавляться традиционные для крымских татар социальные детерминанты (определители, сопроводители) – слова *ана*, *апте*, *ханым* (*ханум*), *оджа*. *Ана*, *апте* (буквально – ‘старшая сестра’) добавляются к имени женщины старшего возраста и выполняют ‘уважительную’ функцию. Такое обращение принято обычно в среде так называемых простых людей. Если же женщина занимает более высокую социальную ступень, пользуется известностью, как учитель, учёный, артистка и т.п., то к её имени принято добавлять детерминант *ханым*. Обращение ко мне – *Адиле ханым* или *Адиле ханум* (так обращаются изредка русские крымчане) в последнее время стало для меня привычным.

Привычным стало и обращение *Адиле оджа* (*оджа* – ‘учитель’). В довоенное время к учителям средней и высшей школы, независимо от их пола и должности, так и обращались: *Нариман оджа*, *Айше оджа*. В связи с формированием в Крыму системы образования на крымскотатарском языке в последние годы вернулось и аналогичное обращение к учителям. Преподаватели и студенты Крымского инженерно-педагогического университета, где я работаю, обычно так и обращаются ко мне, хотя я не простой преподаватель, а профессор. И это возвращение к традиционным формам укрепляет в душах общающихся чувство дома, родины.

Следует сказать о фонетическом (и графическом, т.е. связанном с написанием) казузе, который происходит с моим именем: начальный звук (и соответственно буква) *А*

очень часто заменяется на Э – произносится и пишется *Эдиле*. Это происходит обычно тогда, когда имя произносится после фамилии: *Эмирова Эдиле*. Причём такую ошибку допускают только русские, поэтому я всегда предусмотрительно проверяю написание своего имени при заполнении кем-либо моих официальных документов. Как объяснить этот феномен? Как филолог, я объясняю это так: «чистый» звук Э в основном своём виде – в начале слова или слога – в исконно русских словах фактически не встречаются (за исключением некоторых местоимений и междометий) и потому обладает большой прагматической (воздействующей) силой, способствующей его запоминанию. Именно поэтому начальный звук (и соответственно буква) Э в моей фамилии автоматически, неосознанно переносится говорящим (пишущим) в начальную позицию имени, в результате чего получается *Эмирова Эдиле*. В языкознании такой звуковой феномен называется сингармонизмом или гармонией гласных.

Вот такое поэтическое воплощение нашёл этот феномен в стихах моего коллеги-филолога, посвящённых мне:

Вариации на тему имени

I

С гармонией гласных не в ладу,
Всегда благоуханно Ваше имя,
Оно сроднилось с музами моими
И вот теперь живёт в моём саду.

В нём белоснежных лилий аромат,
Тех самых, что прославили Сусанну...
Ах, Ваше имя столь благоуханно,
Что от любви изнемогает сад.

II

А лучше было б – Эдиле,
Как горло узкое кувшина,
Как выгиб шеи лебединой,
Как серпик лунный на стекле,

А может быть, как тот клинок,
Что ночью был в руках Заремы.
Но немые свнухи гарема,
Лишь Ваше имя – звук эдема –
Шепнул волне крылатый бог.

Здесь уместно вспомнить и об Айне Каалепе, известном эстонском писателе (драматург, поэт, переводчик, литературный критик, редактор общественно-политического и литературно-художественного журнала «Akadeemia», выходящего в г. Тарту), с которым я познакомилась в Самарканде в октябре 1977 г. В его цикле «Samarkandi gaseelid» - «Самаркандские газели» (опубликовано в журнале «Looming», Таллинн, 1978, № 2, с. 217 – 221) есть газель-акrostих: начальные буквы строк эстонского текста по вертикали образуют имя *Adile*.

Обращение Айны Каалепе к восточным мотивам было неслучайным: в те годы он активно переводил на эстонский язык произведения тюркоязычных поэтов. Он очень сочувствовал крымским татарам, изгнанным из своей родины, ненавидел коммунистический режим, от которого в своё время пострадали и эстонцы. Тогда же он попросил меня рекомендовать стихи какого-нибудь крымскотатарского поэта для перевода на эстонский язык. И я назвала самаркандского поэта Ису Абдурамана, стихотворение которого «Кунеш» («Солнце») Айн позже перевёл на эстонский язык. (См.: Issa Abduraman. Päike // Akadeemia. – Tartu, 1991. - № 2. – С. 359 – 361.)

Личное имя – это первое слово, которое младенец слышит, придя в этот мир. Может, поэтому оно дорого человеку и он не любит, когда его имя кем-то искажается. Можно допустить даже, что личное имя предопределено свыше и обладает магической силой, влияющей на судьбу человека. В одном можно не сомневаться: личное имя и его вариации – это маленькое фасеточное (многогранное) зеркало, в котором отражаются все этапы жизни человека – от первых его шагов и до последних.

И может, это будет последнее слово, которое человек услышит, уходя в мир иной.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Известна психологическая универсалия – ностальгия, тоска по родине, по прошлому. Это чувство перманентно и неизменно; оно «всплывает» неожиданно, когда, казалось бы, всё благополучно и даже прекрасно. Оно формируется по прихоти различных ассоциаций – по сходству, смежности, контрасту и др. И никогда нельзя заранее предугадать его явление. Но когда оно внезапно охватывает человека, это всегда больно. Да, с этим чувством можно прожить всю жизнь, но оно всегда ищет какого-то выхода, и хорошо – если творческого. И тогда могут явиться миру такие шедевры, как полонез М. Огиньского «Прощание с родиной», романы И. Шмелёва «Лето Господне» и В. Набокова «Другие берега».

Ностальгию может утолить только воссоединение с объектом тоски. Но и в этом случае она не «испаряется», а сублимируется, трансформируется в другое психическое состояние, которое укрепляет душу и приносит ей покой. Так происходит, когда человек после долгих лет жизни на чужбине возвращается на родину. Там изменилось всё: деревья выросли, дома обветшали и уступили место новостройкам; друзья тоже выросли и разъехались по городам и весям. Вокруг – ни одного знакомого лица. Но человек радостен, спокоен и уверен в себе: он – дома. Ничего плохого здесь с ним не случится. Всё, что обеспечивает такое самочувствие, находится внутри него – в его душе, в его памяти: родные лица уже ушедших из жизни близких, смутные образы друзей детства; маленькие и большие события, свидетелем и участником которых был человек... Почти – *omnia mea tecum portabo*.

Я в полной мере испытала это чувство, когда в 1990 году, после почти полувекового пребывания на чужбине, вернулась на родину – в Крым. Я приехала в Симферополь, который был мне не знаком (я родилась в Ялте), в самые трудные годы – начинались процессы деструкции советской системы. И тем не менее, я сразу же почувствовала себя спокойной и уверенной: я – дома. Это моя колыбель. Мне знакомы эти запахи. Я уже слышала эти песни цикад. Эти солнечные лучи когда-то нежно касались моих детских щёк.

Потом я поехала в Ялту. Вот наш дом. Я постучалась, и дверь открыла хозяйка, Елена Ивановна. Позже нашли и две мои подружки – Тина Мазур и Женья Ноздрина. Мы с Женей, оказывается, ходили в детский сад деревни Дерекей (теперь – Ялта). Она прислала мне щедрый подарок – две пожелтевшие довоенные фотографии. На одной – воспитанники нашего садика, танцующие в татарских национальных костюмах. На другой – группа детей во дворе выполняют упражнения с бумажными венками. На всех одинаковые пилотки-испанки и блузы, надетые поверх домашнего платья. Внизу подпись: *Детсад им. Пушкина, Дерекойский сельсовет, физзарядка*. В левом ряду предпоследней стоит белокурая девочка. Это Женья. А за ней, наклонив голову и опустив глаза, стоит черноволосая девочка с густой чёлкой. Это – я, так говорит Женья. Но я такой себя не помню.

Когда мы встретились несколько лет назад, как будто и не было этих 55 лет разлуки. Я бываю в гостеприимном доме, в Массандре, где мне всегда рады. Не порвалась связь времён, нет! Эти не видимые миру душевные нити, оказывается, так прочны, что смогли выдержать все испытания и беды: войну, депортацию, трудные будни, десятилетия разлуки...

Вот как хорошо написала Женя в первом письме: *«...То, что нам сохранила наша детская память, теперь уже никто не увидит и не узнает. Изменилась Ялта, изменился весь Крым с тех давних пор и не всегда в лучшую сторону. И только память местных жителей, я имею в виду коренных крымчан, хранила и хранит старые названия, известные имена, и даже ругательные слова крымских татар не уходили совсем из обихода довоенных жителей Крыма. А это значит, что крымские татары не были забыты родной землей и даже незримо присутствовали здесь всегда.»*

Вот уже более двадцати лет я живу на родине. В моей душе покой и равновесие. Я общаюсь с людьми разных национальностей и нахожу с ними общий язык.

Желаю мира и благоденствия всем живущим в Крыму и в Украине.

Желаю мира и благоденствия всем живущим на Земле.

Да хранит нас всех Создатель!

Симферополь, 17 сентября 2011 г.